

ГЕРТРУДА АТЕРТОН
**ЧЕРНЫЕ
ВОЛЫ**

РОМАН О МОЛОДОСТИ,
ЛЮБВИ И ВЛАСТИ



Гертруда Атертон
Черные волны

«Автор»

2026

Атертон Г.

Черные волны / Г. Атертон — «Автор», 2026

Роман «Черные волны», стал настоящим литературным феноменом эпохи джаза. В центре сюжета — загадочная, ослепительная графиня Ораньска, которая появляется в высшем свете Нью-Йорка после десятилетий жизни в Европе. Ее утонченные манеры и аристократизм покоряют американскую элиту, а амбициозный консервативный адвокат Ли Клэйверли без памяти влюбляется в нее, несмотря на значительную разницу в возрасте. Однако за фасадом светской дамы скрывается сенсационная тайна. На самом деле графиня — это Мэри Говард, американка из Прошлого, которая прошла через революцию в Европе и подверглась процедуре омоложения железных внутренней секреции. Этот медицинский эксперимент вернул ей внешность и энергию двадцатилетней девушки. Когда правда о ее прошлом и омоложении всплывает наружу, разражается грандиозный скандал. Атертон мастерски исследует темы женской независимости, возраста, биоэтики и столкновения традиций с наступающим веком модерна, превращая историю любви в глубокую социальную драму.

© Атертон Г., 2026

© Автор, 2026

Гертруда Атертон

Черные волны



Предисловие переводчика

Когда в 1923 году в США вышел роман Гертруды Атертон «Черные волны», американское общество было буквально взбудоражено. Писательница, известная своим независимым нравом и острым умом, дерзко соединила то, о чем в ту эпоху шептались в закрытых гостиных: светские интриги Манхэттена, кутежи «ревуших двадцатых» и... передовые, почти фантастические на тот момент достижения науки омоложения.

Название книги отсылает к строкам Уильяма Батлера Йейтса о неумолимых черных волнах времени, чьи шаги сокрушают человеческую жизнь. Но героиня романа, ослепительная и загадочная мадам Заттиани, бросает этому времени вызов. Вернувшись в Нью-Йорк после долгого отсутствия в Европе, она поражает светское общество молодостью и интеллектом, скрывая тайну, которая опередила свое столетие. Вокруг нее разворачивается не просто любовный конфликт, а глубокая драма столкновения поколений, где амбициозный молодой журналист пытается разгадать загадку женщины, чей жизненный опыт разрушает все стереотипы о возрасте и морали.

Для русскоязычного читателя этот бестселлер начала XX века до сих пор остается неизведанной территорией. Перевод ставит своей целью передать всю атмосферу нью-йоркского гламура, интеллектуального напряжения и тонкой иронии Атертон. Добро пожаловать в мир, где наука, молодость и амбиции танцуют на краю вечности.

Владимир Давыдов

Главные герои



1. Мэри Заттиани / Мэри Огден (Madame Mary Zattiany / Mary Ogden)

Кто она: Главная героиня книги, загадочная, ослепительно красивая женщина, которая внезапно появляется в высшем свете Нью-Йорка. На вид ей около двадцати восьми — тридцати лет, но её настоящий возраст — пятьдесят восемь лет.

Характеристика: Обладает невероятным шармом, глубоким умом и изысканными манерами. За ее плечами — десятилетия жизни в Европе и брак с австрийским дипломатом. Под ее личиной скрывается урожденная нью-йоркская аристократка Мэри Огден, которая прошла через новаторский курс омоложения (процедуру Штейнаха). Она одновременно пугает и притягивает нью-йоркский свет, бросая вызов времени, условностям и собственному прошлому.

2. Ли Клэверинг (Lee Clavering)

Кто он: Талантливый, амбициозный 34-летний нью-йоркский журналист, театральный критик и литератор.

Характеристика: Яркий представитель интеллектуальной молодежи «ревущих двадцатых». Циничный на публике, но тонко чувствующий в душе, Клэверинг страстно влюбляется в мадам Заттиани. Его завораживает не только ее красота, но и ее интеллект, равного которому он не встречал среди ровесниц. Ради этого чувства он готов перевернуть свою жизнь и бросить вызов общественной морали.

3. Джанет Оглторп (Janet Oglethorpe)

Кто она: Джанет Оглторп, дочь Джима Оглторпа, юная представительница нью-йоркской «золотой молодёжи», своевольная и непокорная.

Характеристика: Воплощает дерзость молодых американцев 1920-х годов. Джанет открыто бунтует против приличий, ссорится с отцом и настойчиво добивается любви Ли Клэверинга. Её поведение подчёркивает различие между юношеской порывистостью и зрелым опытом Мэри.

4. Судья Трент (Judge Trent) и старая гвардия Нью-Йорка

Кто они: Представители консервативной элиты, старой нью-йоркской аристократии (включая влиятельных дам высшего света вроде миссис Оглторп и других старых знакомых Мэри).

Характеристика: Они помнят Мэри Огден еще до ее отъезда в Европу и постепенно начинают догадываться о ее истинной личине. Их реакция на возвращение героини показы-

вает жесткость и лицемерие светских устоев: от слепого поклонения до страха перед тем, что нарушает привычный ход вещей.

Эти персонажи создают идеальный драматический каркас для романа, где на фоне светских сплетен разворачивается глубокая философская и психологическая драма о природе возраста, страсти и неумолимом беге времени.

I

«Разговоры. Разговоры. Разговоры... Реплики хороши, а действия никакого... всё уже сказано... даже первый акт ничего не обещает... восьмой провал, а больше половины сезона позади... лучше уж писать пьесы и проваливаться, чем быть критиком и слушать, как бывшие и несостоявшиеся знаменитости пытаются протащить скверную пьесу... О, хоть бы ещё одна великая премьера... если загробный мир существует, почему бы духам умерших художников не объединиться и не запретить плохим драматургам мучить публику на премьерах?... Астральный совет Бессмертных заседает в Бессознательном, дёргает за ниточки — и все эти куски мяса и склеротики превращаются в бормочущих идиотов, стоит им взяться за перо?... Меньше премьер, зато больше радости... да и отправить антрепренёров обратно за прилавки сигарных лавок — тоже радость... Слава богу, я больше не критик... могу не ходить на премьеры, если не хочется... а не ходить не могу... привычка сильнее... бедняге фельетонисту надо где-то добывать материал... зачем я завёл собственную колонку? Больше платят. Деньги! А ведь когда-то я был розоватым социалистом... лучшего салонного образца... Господи! Хоть бы кто-нибудь умер и оставил мне миллион!»

Клэверинг открыл усталые глаза и оглядел затемнённый зал, мысленно представляя множество скучающих, негодующих лиц — плоских дисков; кое-кто, возможно, ещё на что-то надеялся, но большинство слишком хорошо знало театр, чтобы не расслышать тяжёлую ноту бездарности, которая с самого поднятия занавеса гудела, точно приглушённый корабельный гудок в тумане.

Это была обычная публика премьер, собравшаяся приветствовать любимую актрису в новой пьесе. Все Искушённые — так окрестил их Клэверинг, уступив «интеллектуалов» и «интеллигенцию» салонным социалистам, — были налицо: писатели, драматурги, редакторы и молодые редакторы, фельетонисты, театральные критики, молодые издатели, модные иллюстраторы и карикатуристы, несколько актёров, живописцев, скульпторов, хозяйки салонов, где собирались знаменитости, и немного обитателей Гринвич-Виллидж, придававших оттенок старой богемности собранию, в остальном почти столь же блестящему и чинному, как публика оперы по понедельникам. Двенадцать лет назад неудержимое влечение к мозговому центру западного мира вырвало Клэверинга из обветшалого особняка колониальных времён в Луизиане и привело в Нью-Йорк. Здесь он прошёл обычный для энергичного человека путь от репортёра до автора специальных статей, хотя молодёжь тогда выдвигалась не так быстро, как теперь. Три года театральным критиком своей газеты, два года на войне; по возвращении из Франции — всеведущий обозреватель, которому завидуют и которого цитируют. В журналистике выше подниматься было некуда, и ни один из многочисленных блистательных вечеров Искушённых не обходился без длинной, небрежно развалившейся фигуры и угрюмого лица мистера Ли Клэверинга. Едва ступив на лестницу славы, мистер Клэверинг понял, как выгодно превратить самого себя в театральный персонаж. И хотя телом он был столь же подвижен, сколь умом, а нрав имел приветливый и добродушный — на чём порой с раздражением настаивали его друзья, — в своём кругу, всё более влиятельном в Нью-Йорке, он слыл существом циничным, мрачным и загадочным, которое на вечерах перемещалось от одной женщины к другой лишь усилием воли, подстёгиваемой скукой. Незамужние женщины махнули на него рукой как на закоренелого холостяка, но некоторые всё ещё провожали его смуглое лицо томными взглядами. (Он иногда задумывался, какую роль выбрал бы себе, будь он блондином.) На

самом деле он оставался неисправимым романтиком даже после десяти лет газетной работы в Нью-Йорке и двух лет войны; и всякий раз, входя в гостиную и обводя собравшихся полуприкрытыми глазами стального оттенка, он питал всё ту же неувыдающую надежду встретить совершенную женщину.

В его взыскательности, в поисках идеала не было притворства. Как, с некоторых пор, и в скуке, которую навевало на него почти всё. Не то чтобы ему разонравилась работа — или удовольствие каждое утро поучать восхищённую публику за своей знаменитой подписью, — но он устал от «своего круга», от одних и тех же лиц, от нескончаемой подённости, от скверных пьес — он-то, так страстно любивший театр! — и отчасти от самого себя. Ему хотелось бы год побродить по свету. Денег он скопил достаточно, однако исчезнуть из Нью-Йорка не решался. Здесь забывали за одну ночь, а мода, особенно после войны, менялась так быстро и вместе с тем так незаметно, что по возвращении он мог потратить ещё год, приспосабливаясь к переменам. Или обнаружить, что его место занял кто-нибудь помоложе, чья проклятая дерзость и выставленная напоказ молодость успели приучить податливую публику к новому сорту кашицы, сдобренной красным перцем. Мир, чёрт побери, маршировал под дудку молодости (в свои тридцать четыре мистер Клэверинг уже начинал чувствовать себя пожилым), но тех, кто прочно обосновался на месте, вытеснить было нелегко. Свою публику он держал под гипнозом. Там, где рецензент мог продать один экземпляр книги, он продавал десять. Его суждение о пьесе было окончательным — или почти окончательным. Стоило ему упомянуть кого-нибудь из Искушённых, и слава того вырастала на локоть. После трёх упоминаний имя знали в каждом доме. Молчание причиняло муки и сулило забвение. Уж лучше брань. По известности их узнаете их. Случалось, что даже общественные деятели с кожей носорога вздрагивали. Поборницы всевозможных идей заискивали перед ним. Боксёры-профессионалы хмурым утром после победного вечера были от ярости, едва не плача, когда мистер Ли Клэверинг — некогда первоклассный обозреватель благородного искусства кулачного боя — с грустью вспоминал бойцов покрупнее. Ленин назвал его врагом новой религии, которому правда чужда. Пока он не станет скучен — этот ухмыляющийся скелет ещё не маячил перед ним, — читатели, наскоро или торжественно переварив новости, будут с облегчённым вздохом переходить к его колонке. Но держаться за своё место необходимо, тут сомнений нет. Даже намекнуть публике, что она может научиться без него обходиться, было бы губительно.

Он вздохнул и снова закрыл глаза. Чувствовать себя рабом, который сам выковал себе позолоченные цепи, было не так уж неприятно. И всё же он опять вздохнул, вспоминая утраченную простоту, мечты под магнолиями, ту пору, когда верил, что, не будь женщины его круга вынуждены сами вести хозяйство, все они были бы молоды, прекрасны и говорили бы только о любви; когда образованная женщина и женщина, которая «что-то делает», казались ему чудовищным отклонением от нормы. Что ж, с настоящими женщинами было интереснее общаться — в этом он отдавал им должное... Затем он усмехнулся, вспомнив пору своего пылкого социализма, когда, подобно всем встреченным им социалистам, старательно давал понять, что родился в лучшем обществе. Так оно и было, и он этому радовался, пусть даже лучшему обществу его маленького южного городка почти нечем было жить, кроме безвозвратно ушедшего прошлого. Теперь, став известным и обеспеченным, он никогда не намекал на знатность своих предков и с неловким презрением вспоминал былые прегрешения против хорошего вкуса, однако совсем забыть о происхождении не мог. Ни один южанин не может.

На сцене всё бубнили, и конца бесконечному первому акту не было. Разговоры. Разговоры. Разговоры. Заснуть бы — да наверняка шею сведёт. Тут он вспомнил женщину, которая прошла по проходу мимо его кресла, когда свет уже гасили. Лица он не увидел, но заметил изящную фигуру и необычный оттенок волос — цвет тёплого пепла. Ни у одной из его знакомых не было светлых волос такого редкого оттенка.

Он открыл глаза. Она сидела на два ряда впереди, и свет со сцены слабым ореолом обрисовывал небольшую голову красивой формы с низко уложенным узлом волос. Шея у неё, по видимому, была длинная, но, хотя она и откинула накидку на спинку кресла, ему виднелись лишь белая полоска шеи да угадывались покатые плечи. В наше время такие плечи редкость. Вместе с горделивой посадкой головы они напомнили ему фамильные портреты в старой галерее родного дома. Сам брюнет, он любил светловолосых женщин, хотя с тех пор, как они принялись коротко стричься, все стали похожи одна на другую, словно журнальные обложки. Причёска этой женщины не следовала никакой определённой моде. Мягкие, густые волосы были зачёсаны со лба назад и едва прикрывали кончики ушей. По крайней мере, ему так казалось. Когда она проходила мимо, он не успел увидеть даже её профиля. Профили вышли из моды, но в одном старомодном уголке его души к ним сохранялась слабость, и теперь он без особых оснований был убеждён: у женщины с такой безупречно вылепленной головой — продолговатой и узкой, но не слишком, — непременно должен быть профиль. Анфас она, вероятно, не так хороша. У женщин с пепельными волосами обычно светлые брови и ресницы, а глаза у неё вполне могут оказаться блекло-голубыми. Или навывкате. Или рот слишком маленький. Но за профиль он готов поручиться, и, когда наконец опустится благословенный занавес, он не бросится к выходу, а останется его рассмотреть.

Затем он снова закрыл глаза и забыл о ней, пока его не разбудили аплодисменты. На премьерах хлопают всегда, пусть даже для порядка. Положение обязывает. Но аплодисменты скужающей, хотя и преданной публики так же отличаются от рукоплесканий публики восхищённой и оживлённой, как поднимающийся ветерок от урагана.

Актёры кланялись все вместе, по трое, по двое, по одному. Занавес опустился, свет зажёгся, зал пришёл в движение. Мужчины спешили по проходу, протискивались мимо терпеливо сидевших женщин. Зрители потянулись к знакомым. И тут женщина двумя рядами впереди Клэверинга сделала нечто необычное.

Она медленно встала, повернулась спиной к сцене, поднесла к глазам театральный бинокль и неторопливо оглядела публику.

«Я так и знал!» Клэверинг прищёлкнул языком. «Европейка. Ни одна американка так не поступит — разве что слишком долго прожила за границей и забыла наши обычаи».

Он жадно разглядывал её и с лёгкой досадой заметил, что весь зал последовал его примеру. Бинокль скрывал глаза, но опирался на переносицу несомненно прямого носа. Лоб был, пожалуй, слишком высок, зато красиво выпукл; густые волосы были зачёсаны назад от острого мыска посередине. Брови, слава богу, оказались на несколько тонов темнее волос. К тому же тонкие и лоснящиеся. За ними явно ухаживали. Возможно, выщипывали и подкрашивали: жизнь научила его скептически относиться к отдельным «достоинствам» женской внешности. Впрочем, Клэверинг вовсе не был поклонником природы без поправок; за исключением редких минут вдохновения, он считал её первостатейной неумехой.

Несмотря на гладкую белую кожу и округлость щёк над безупречной шеей, в этом лице чувствовалось что-то неуловимо немолодое. Довольно большой рот, хотя и свежий, алый — возможно, в Европе делали помаду, близкую к естественному цвету губ, — был лишён мягкой девичьей подвижности. В середине губы были полными, и алый край нижней отнюдь не сводился к тонкой черте, но к уголкам линия рта выпрямлялась и завершалась почти резкой суровостью. Один раз она улыбнулась, однако это был лишь мимолётный проблеск веселья; рот не смягчился. Очертания лица оправдывали то, что обещала форма головы, но овал нарушался подбородком — почти квадратным, с ямочкой. Фигура была очень тонкой, однако и в ней, как в лице, неуловимо чувствовалась зрелость; возможно, потому, что женщина держалась неуклонно прямо. Видимо, она ничем не поступилась в пользу демократического пренебрежения «осанкой», той небрежной, чуть ли не извиняющейся манеры держаться, что сменила томные изгибы недавних лет.

На ней было платье из белого стекляруса, с длинными линиями нынешней моды: в одежде она, очевидно, строго следовала её предписаниям. Глубокий квадратный вырез открывал начало груди. Сама она тоже была вся вытянутая; руки и кисти в длинных белых перчатках — очень тонкие. Вероятно, во всём зале она одна была в перчатках. После войны жизнь стала вольнее. На шее у неё лежали три нити жемчуга.

Он нетерпеливо ждал, когда она опустит бинокль... За его спиной две девушки ахали и перешёптывались... На другом конце зала хихикнули.

Она опустила бинокль и окинула взглядом ряды обращённых к ней лиц, разглядывая их без особого интереса, словно рыб в аквариуме. Прежде чем её взгляд остановился на Клэверинге, она чуть опустила веки. Он подался вперёд и пристально, напряжённо смотрел на неё, изо всех сил стараясь привлечь её внимание. На мгновение её взгляд действительно задержался на нём, затем равнодушно скользнул дальше, но за этот краткий миг по его нервам пробежала странная дрожь... почти предостережение... Глаза были очень тёмными, серыми, с греческим изгибом век, непостижимо мудрыми, холодными, лишёнными иллюзий. На вид ей нельзя было дать больше двадцати восьми. Никаких следов беспутной жизни на лице. Если бы не холодная правильность черт, она казалась бы ещё моложе — с закрытыми глазами. А глаза словно смотрели на него из бесконечно далёкого прошлого.

Вдруг она, по-видимому, почувствовала, что внимание всего зала приковано к ней. Быстро огляделась, поняла, очевидно, что стоит одна, лицом ко всем, слегка покраснела и села. Однако спокойствие её осталось невозмутимым. Ни одного мелкого смущённого жеста, каким выдала бы себя другая женщина. Она даже не сделала вид, будто читает программку.

II

Клэверинг поднялся с кресла и неторопливо пошёл по проходу. На этот раз его не мучило обычное нетерпение поскорее затянуться благодетельной сигаретой. Неужели задело? Едва ли. Любопытство — несомненно. Но сколько он уже повидал таких многообещающих оболочек. Подлая уловка природы — жалкой выдумщицы с убогой фантазией.

Проходя мимо рядов, он поглядывал на зрителей. Вовсе не пьеса их оживила. Эта женщина была подарком небес.

Вдруг его взгляд остановился на лице мистера Чарльза Динвидди. Двоюродная бабушка Клэверинга вышла замуж за отца мистера Динвидди, и, несмотря на большую разницу в возрасте, мужчины были довольно близки. Неиссякаемые рассказы старшего о нью-йоркском свете развлекали Клэверинга, а тот, в свою очередь, приобщил мистера Динвидди к новым, неизвестным удовольствиям, в том числе к литературным вечерам и театральным премьерам, которыми высший свет пренебрегал.

Все нью-йоркские мужчины старого закала, сколь бы несхожи они ни были за двадцать лет до того, к шестидесяти годам, а особенно перевалив за шестьдесят, становятся так похожи друг на друга, что их можно принять за братьев не только по касте, но и по крови. Усы и остатки волос приобретают у всех один и тот же благородный белый цвет. Их красивые старческие лица северного типа обычно худощавы, с плоскими щеками; выражение спокойное, уверенное, не всегда самодовольное. Они безупречно ухожены и держатся прямо. Бывают плотными, но редко толстыми; и пусть не каждый красив, все они лощёные, породистые, сдержанно-надменные. Бакенбард они уже не носят и выглядят моложе, чем их отцы в том же возрасте.

Лицо мистера Динвидди обычно хранило ту чопорную, учтивую невозмутимость, какой требовало его почтенное положение, но сегодня от неё не осталось и следа. Он побледнел. Несколько выпуклые глаза смотрели неподвижно, рот приоткрылся. Он сидел у прохода, и Клэверинг встревоженно поспешил к нему.

— Нездоровится, старина? Пойдёмте-ка лучше выйдем.

Мистер Динвидди осмысленно взглянул на него, затем неловко поднялся и ухватил Клэверинга за руку.

— Да, — пробормотал он. — Выведи меня отсюда и отведи куда-нибудь выпить. Призрака увидел.

Клэверинг провёл его по проходу, затем через боковую дверь в переулок и достал из заднего кармана фляжку. Мистер Динвидди без церемоний приложился к ней и сделал два глотка, слегка задохнувшись. Он уже достиг того возраста, когда предпочитают слабый виски с содовой. Затем выпрямился и провёл ладонью по блестящему своду головы.

— Ты когда-нибудь видел призрака, Ли? Эта женщина ведь была там?

— Была, разумеется. — Лицо Клэверинга утратило и циничность, и загадочность; теперь оно оживилось любопытством. — Вы знаете, кто она?

— Тридцать с лишним лет назад любой из нас, стариков, сказал бы тебе: Мэри Огден. И, пожалуй, приподнял бы шляпу. Первая красавица своего времени, царица балов. Но в двадцать четыре года она вышла замуж за венгерского дипломата, графа Заттиани, и покинула нас. С тех пор ни разу не приезжала на родину. Я и не хотел больше её видеть. Слишком уж был влюблён. Но лет десять назад мельком увидел в парижской опере — увядшую! Конечно, всё ещё приметную, с её-то статью, но иссохшую, изменившуюся: вместо стройности — худоба, шея спрятана под ожерельем-ошейником чуть ли не в ярд высотой, лицо грустное, безучастное... Низвергнутый мужской кумир. Боже! Мэри Огден! Я ушёл из театра.

— Значит, это её дочь...

— У неё никогда не было детей — знаю совершенно точно. Титул Заттиани перешёл к племяннику, а его убили на войне... Нет... должно быть... должно быть...

Глаза его заблестели. Клэверинг знал этот признак: родственник собирался поделиться занятной сплетней.

— Ну? — нетерпеливо спросил он.

— О Мэри Огден — Мэри Заттиани — чего только не рассказывали. Она всегда была заметной фигурой в европейских столицах. Муж до самой смерти состоял на дипломатической службе; умер он за несколько лет до того, как я увидел её в Париже. Она была слишком умна — дьявольски умна, эта Мэри Огден, и в европейском свете славилась умом не меньше, чем красотой, — чтобы позволить себя скомпрометировать. Но слухи ходили... Вот оно что! У неё родилась дочь, и она её где-то спрятала. Две женщины не могут быть так похожи, если они не мать и дочь, — да и у тех нечасто встретишь такое сходство. Даже эта манера держать голову... вся её стать... Интересно, где она её держала? Девушка получила образование, да и всё в ней выдаёт лучшее общество. Должно быть, уговорила друзей её удочерить. Чёрт возьми! Какая тайная глава жизни. Но зачем, скажи на милость, она отпускает девушку одну куда вздумается?

— Я бы не дал ей меньше двадцати восьми. С вашего места она, должно быть, казалась моложе.

— Двадцать восемь! Значит, Мэри начала раньше, чем до нас дошли слухи. Впрочем... мы никогда не могли сказать, что знаем Мэри, — в этом и заключалась одна из её прелестей. Она заставляла нас ломать голову, как выражается ваша молодёжь, а в глазах у неё порой загорался настоящий дьявольский огонёк.

Его собственные глаза опять оживились.

— Любопытно, не здесь ли Мэри? Наверняка приехала возвращать своё имущество: она ведь так и не перевела капиталы за границу, а во время войны их, разумеется, изъяли. Но от неё никто не получал ни строчки. Это я знаю точно. Мы как раз на днях говорили о ней за обедом, гадали, вернули ли ей состояние. У Джейн Оглторп. Джейн и многие другие дамы время от времени виделись с ней за границей, в первые годы после её замужества гостили у неё в венгерском замке; но потом разошлись, как бывает с друзьями... Должно быть, от неё осталась

одна тень, бедняжка. Во время войны она заведовала госпиталем, а когда началась революция, ещё некоторое время оставалась в Будапеште. Надеюсь, девушку она надёжно укрывала.

— Может быть, она прислала её сюда заняться своими делами.

— Так и есть. Без всякого сомнения. И я всё выясню. Трент — поверенный Мэри, он управляет её имуществом. Уж я заставлю его разговариваться.

— И вы нанесёте ей визит?

— Ещё бы! То есть заставлю Трента меня к ней отвезти. На бедную Мэри я больше смотреть не хочу, но тут словно помолодеешь... Ого! Да ты, кажется, увлёкся!

Решив мучившие его вопросы, мистер Динвидди вполне пришёл в себя и уже почувствовал одну из тех маленьких драм, что придавали вкус его довольно пресным дням.

— Вот это мне по душе. Познакомлю вас и благословлю. Правда, она, выходит, незаконнорождённая.

— Мне на это наплевать.

— И правильно. Кому теперь до чего-нибудь есть дело? А молодость бывает только раз.

— Он вздохнул. — И если она хоть наполовину похожа на мать не только лицом — она того стоит.

— Значит, обещаете?

— По рукам. Завтра утром повидать Трента. Пообедаешь со мной в клубе в восемь?

— Ещё бы!

III

После второго акта критики ушли, чтобы без помех разнести пьесу. Клэверинг остался на своём месте. Сорок минут спустя, пока актёры выходили на жидкие вызовы, а благожелательные друзья требовали автора обречённой пьесы, таинственная незнакомка поднялась и направилась к выходу по проходу. Впрочем, цинически думал Клэверинг, скорее всего, за этой необычной внешностью скрывалась самая обыкновенная история: после самых буйных догадок объяснение обычно оказывалось заурядным. Повинуясь непреодолимому влечению, он последовал за ней. У входа она на мгновение остановилась под ярким электрическим светом, и он придиричиво её оглядел. Испытание она выдержала. К тротуару подъехал небольшой автомобиль. Она села в него, а Клэверинг остался под тихо падающим снегом, чувствуя себя несколько глупо. Медленно шагая к себе на Мэдисон-сквер, он окончательно убедил себя, что так сильно разгорелся в нём всего лишь прежний репортёрский инстинкт — даже тогда, когда он подгонял Динвидди и с жаром пожал ему руку, предвкушая знакомство. В крови у него, во всяком случае, никакого огня не было. Воображение ни на миг не потешилось надеждой, что вот наконец... Ничего романтического он не испытывал. Но какой мужчина, особенно после откровений Динвидди, не ощутил бы некоторого любопытства, некоторого волнения? Слава богу, для этого он ещё достаточно молод. Он должен узнать, кто она. Конечно, ему хотелось бы с ней поговорить. Она знает жизнь, тут сомнений нет: с такими-то глазами! Европейские женщины, если представлялась возможность, умели вместить в десять лет больше жизни, чем американка в сорок. Несмотря на лицо мадонны, она многое испытала — он готов поручиться. Что ж, влюбляться в женщину, которая слишком многое подчеркнула в книге жизни, он не собирается. Но беседовать с европейскими светскими дамами ему нравилось. В последнее время Нью-Йорк наводнили русские княгини и прочие титулованные особы, приехавшие в надежде подоить добрую старую американскую корову; и когда ему удавалось отвлечь их от жалоб, они оказывались умными, тонкими и интересными собеседницами. Вряд ли у этой женщины были подобные поводы для жалоб и вряд ли она искала случая добратся до обильного, но вечно ускользающего вымени. Жемчуг мог быть ненастоящим, но платье стоило баснословно дорого, вечерняя накидка была из лилового бархата на горностаевом меху, а маленький автомобиль — безупречно отделан. Со своими пятнадцатью тысячами жалованья в год и несколькими тыся-

чами в облигациях он выглядел бы охотником за приданым... Нет уж, этого он не допустит! Но выяснить, кто она, познакомиться, поговорить, узнать её историю — наверняка интересную, он это чувствовал, — совсем другое дело.

IV

На следующий вечер, придя в клуб, Клэверинг застал мистера Динвидди вне себя от негодования.

— Ну, что ты на это скажешь! — воскликнул тот, ведя гостя к своему любимому столику в углу. — Старый плут решил меня одурачить! Одурачить! Сказал, что, насколько ему известно, никаких родственников графини Заттиани в стране нет. Когда я рассказал о поразительном сходстве этой девушки с Мэри Огден, уставился на меня с деревянным лицом. Сказал, что никогда о ней не слышал. Над мыслью о тайной дочери посмеялся. Притворился, будто возмущён таким поклёпом на доброе имя Мэри, — сам ведь был в неё влюблён, как и все мы. Но он лгал и знал, что я знаю: он лжёт. Что будешь есть?

— Что угодно. Продолжайте. По блеску ваших глаз вижу, что это ещё не всё.

— Верно, не всё. — Он сделал заказ и подался вперёд. — Я кое-что разведал самостоятельно. Мэри унаследовала старый дом Огденов на Мюррей-хилл. Мне случайно известно, что срок аренды истёк в прошлом году и с тех пор дом не сдавали. Так вот, сегодня я прошёл мимо — там кто-то живёт. Доски сняты. Окна открыты. Занавески свежие. У нижнего служебного входа слуга принимал посылку. Она там, помани моё слово.

— Нисколько не сомневаюсь. Почему же вы не поднялись прямо к двери и не велели доложить о себе?

— Духу не хватило. К тому же эта девушка обо мне и не слыхала. У меня не было ни малейшего предложения.

— Почему бы не навести на след миссис Оглторп? Она могла бы нанести визит. Женщины всегда горазды придумывать предлоги.

— Не представляю, что бы она могла выдумать. Заинтересуется-то она охотно, но ведь не скажет этому надменному созданию, на котором так явственно лежит печать высшего света: я, мол, знаю, что вы внебрачная дочь Мэри Огден. Даже Джейн на такое не хватит самоуверенности.

— Она могла бы предположить, что молодая женщина — родственница графини Заттиани, дочь кузины или что-нибудь в этом роде. В семьях ведь случается такое поразительное сходство... Возможно, этим всё и объясняется.

— Ничего подобного. Это дочь Мэри.

— Я склонен с вами согласиться. Но ясно, что заявить ей это в лицо нельзя. А миссис Оглторп могла бы придумать благовидный предлог: увидела в театре, поразилась сходству со старой подругой, узнала, что она поселилась в фамильном особняке, почувствовала, что непременно должна с ней познакомиться...

— Гм. Нью-йоркские дамы так не поступают, и ты это знаешь. Правда, война выбила их из колеи, как и всех остальных. Они до сих пор не могут успокоиться. За один только последний месяц я встретил на обедах и музыкальных вечерах двух оперных певцов, двух актрис и троих из этих юнцов — редакторов и фельетонистов. Думаю, они и Чарли Чаплина чествовали бы, если бы он позволил, но, насколько я слышал, он ещё разборчивее нас в знакомствах. Боже! Куда катится нью-йоркский свет?

— Вы ведь и сами любите иной раз забрести за пределы заповедных угодий.

— Люблю. Но я мужчина. Мы всегда позволяли себе немного побродить на стороне. Но как вспомнишь, насколько замкнутым был наш круг всего несколько лет назад! Ведь нью-йоркский свет был клубом. Самым закрытым клубом в мире. По сравнению с ним лондонский свет — просто богема. Это демократический грипп, вот что! С аристократией покончено.

— Не уверен. Обратная реакция может оказаться сокрушительной. Но уже обнадеживает, что у них наконец хватило ума заскучать в собственном довольно однообразном обществе. А миссис Оглторп всегда поступает именно так, как ей вздумается. Намекните ей.

— Что ж, попробую. Но при всей своей властности Джейн держится весьма строгих правил, когда речь заходит о свете и о том, кого в него допускать. Пока она ни в чём не уступила. Она и ещё несколько дам по-прежнему крепко держат бразды. Зато их дочери! А внуки! Дочери Джейн — точные её копии, только без малейшей крупинки её характера. Но дочь Джима, Джанет, — вылитая бабушка, плюс нынешние дурные манеры, дурные привычки и презрение ко всем мыслимым приличиям. Несносная девчонка новой породы. Господи! Куда мы катимся!

— Оставим Джанет...

— А почему бы тебе самому не предложить это Джейн? Она тебя ценит больше всех. Сомневаюсь, чтобы она отказала тебе хоть в чём-нибудь...

— Ну уж нет. Сразу догадается. Мне в последнее время несколько раз намекали, что она уже присмотрела мне невесту. Вы должны сделать это сами — непременно!

— Что ж! Если она откажется, может быть, согласится жена Джима. Дамы помоложе мигом познакомились бы с этой девушкой, если бы почуяли в этом развлечение, а потом бросили бы её, не придись она им по вкусу. Не знаю, хочется ли мне ставить её в такое положение.

— Думаю, прекрасная незнакомка сумеет за себя постоять. Не представляю, чтобы её можно было подхватить, а потом бросить. Скорее уж познакомиться с ней окажется чертовски трудно. По-моему, мой план лучше. Любопытство можно разбудить в любой женщине, а уж у миссис Оглторп его больше, чем у кого бы то ни было. Это и будет первым шагом. Вы с ней познакомитесь, потом устройте для неё обед и пригласите меня.

— Хорошо. Попробую. Но что-нибудь должно выясниться поскорее. Мои артерии такого напряжения не выдержат.

V

— Мадам нет дома, сударыня.

— Вот как? Тогда я её подожду.

Миссис Оглторп величественно прошла мимо дворцового, и тот почувствовал себя мякиной, которую разметал сильный ветер. Вид у неё и впрямь был внушительный, да и ростом она превосходила его на целых два дюйма. Ему оставалось лишь смотреть на неё с беспомощным почтением, тем более что он сразу её узнал. Время светских предводительниц, быть может, миновало, но миссис Оглторп с её устрашающей прямоотой, незыблемыми правилами, язвительным юмором, огромным состоянием и орлиным взглядом, различавшим любую уловку, всё ещё оставалась силой в нью-йоркском обществе. Мог ли простой слуга противиться этой грозной воле, когда люди куда выше его положением трепетали при одном её кивке?

Миссис Оглторп, как всегда, оделась с особой тщательностью. Просторное длинное платье из чёрного бархата с густым ворсом, почти скрытое собольей пелериной, подметало пол: меняющаяся мода на юбки её не касалась. Подобно всем нью-йоркским дамам старого закала, она носила очень высокую причёску, увенчанную маленькой чёрной шляпкой в перьях; лицо оставалось безжалостно открытым — крупное, квадратное, с маленькими сверкающими чёрными глазами и выдающимся носом. Высокий сетчатый воротник на косточках поддерживал то, что осталось от её шеи. Драгоценностей она не носила, придерживаясь строгого правила своей молодости: днём выставлять напоказ что-либо, кроме жемчуга, считалось вульгарным. Но для жемчуга она была уже слишком стара и желтолица, а потому довольствовалась гагатовыми серьгами и ожерельем. В руке у неё была трость.

К своему удивлению, мистер Динвидди без труда уговорил её разведать тайны особняка Огденов: она сразу решила, что эта бесцеремонная незнакомка с её невероятным сходством

каким-то образом угрожает подруге её юности. Было время, когда, негодуя отворачивая слухи, годами ходившие после замужества Мэри Огден, она втайне верила им и прощала подругу. Не только потому, что преданно её любила и кое-что знала о постигшем её горьком разочаровании, но и потому, что бурная тайная жизнь, которую приписывали знатной графине Заттиани, питала её собственную подавленную жажду любви и приключений. Годы, отнявшие у Мэри красоту и очарование, а ей самой принёсшие полное разочарование в жизни, почти стёрли в её памяти ту пору. К тому же она уже много лет не бывала в Европе, а переписка некогда столь близких подруг почти прекратилась ещё до войны. За всё это долгое время она узнала о Мэри лишь то, что та заведует госпиталем в Будапеште; но вскоре после окончания войны один из членов какой-то комиссии, ездившей в Вену, огорчил её известием: графиня Заттиани больна и находится в санатории. Она сразу написала ей, но ответа не получила. Теперь миссис Оглторп опасалась, что какая-то авантюристка воспользовалась поверхностным сходством, чтобы прибрать к рукам состояние Огденов. Уверения Динвидди, что сходство совершенно, она отвергла как бессвязные бредни ослабевшей памяти, блуждающей среди призраков собственной юности. А когда услышала, что судья Трент, по-видимому, покровительствует этой женщине, её подозрения удвоились. Судью Трента она неизменно ненавидела уже пятьдесят лет.

Если же эта особа и в самом деле дочь Мэри — и сможет это доказать, — что ж, как поступить, она решит при встрече.

— Я подожду в библиотеке, — объявила она и величественно двинулась по холлу.

Но тут какой-то звук заставил её остановиться и взглянуть на лестницу, поднимавшуюся слева, напротив библиотеки. По ней спускалась женщина — лишь на дюйм или два ниже её самой и не менее статная, с пепельно-светлыми волосами, собранными низко над изящной шеей, в свободном платье из бледно-зелёного крепа с серебряным поясом.

— Боже мой! — воскликнула миссис Оглторп громким повелительным голосом, словно приказывала Всевышнему вскочить с престола и немедленно поспешить к ней на помощь. Затем тяжело опёрлась на трость.

Женщина быстро спустилась с лестницы и властным жестом отослала дворецкого. Когда он исчез, она уже медленнее подошла к взволнованной гостье и остановилась в нескольких шагах от неё. Брови её были чуть приподняты, лицо бесстрастно. Даже впившиеся в неё зоркие старческие глаза не угадали, что она застигнута врасплох и внутренне трепещет.

Несколько мгновений миссис Оглторп не могла вымолвить ни слова. Годы слетели с неё. Она снова была молодой женщиной, приехавшей провести день с любимой подругой... или на приём в строгий величавый дом на Мюррей-хилл... Высокие комнаты полны дам в тесно облегающих лифах, с турнюрами, в пышных длинных юбках; маленькие шляпки и чепцы примостились на валиках и косах... Мэри, самая лучезарная, прекрасная, обворожительная девушка на свете, идёт ей навстречу с протянутыми руками, а её более сдержанная мать слегка хмурится, недовольная такой горячностью... Или обе они восстали из мёртвых и теперь бродят по старому дому?

Но смятение могло владеть неукротимой душой миссис Оглторп лишь несколько секунд. Она выпрямилась во весь свой внушительный рост и обратилась к ошеломившему её видению голосом ещё более резким, чем обычно:

— Простите. Ваше сходство с моей старой подругой, графиней Заттиани, меня поразило. Позвольте узнать, кто вы?

— Разве это так важно?

И миссис Оглторп снова вздрогнула, хотя в голосе слышался иностранный акцент.

— Да, важно, — сурово ответила она. — Именно за этим я и пришла.

— Вот как! — Брови женщины снова чуть приподнялись. — Я всегда слышала, что американцы не слишком считаются с условностями, но не знала, что свобода от них простирается до вторжения в чужой дом.

— От меня так не отделаётся. Вы дочь Мэри Заттиани?

На прекрасном холодном лице на мгновение появилось откровенно насмешливое выражение, но исчезло вместе с лёгким пожатием плеч.

— Нет, — ровно ответила она.

— Тогда кто же вы?

— Я предпочитаю этого не говорить. Пока.

В её тоне было не меньше высокомерия, чем у собеседницы, и миссис Оглторп ошети-
нилась.

— Что означает враньё Трента по поводу вашего пребывания в этом доме?

— Судья Трент уважает мои желания.

— Ваши желания! Вы его одурачили. Но я самая давняя подруга графини Заттиани, и если её обманули, если с ней случилась беда, если вы хотите завладеть её состоянием, выдавая себя на основании вашего необычайного сходства за её наследницу, я сумею положить этому конец, несмотря на судью Трента. Полагаю, обо мне вы никогда не слышали. Моя фамилия Оглторп.

— Я слышала о миссис Оглторп от графини Заттиани. Но она не подготовила меня к вашей чрезвычайной невоспитанности.

— К чёрту воспитанность. Я веду себя так, как считаю нужным, и всегда так поступала. Повторяю: графиня Заттиани была моей ближайшей подругой в юности и ещё много лет спустя. Если в этой стране некому защитить её интересы, я защищу их сама. Неужели вы думаете, я не понимаю: будь вы её доверенным лицом, она отправила бы вас прямо ко мне? Это первое, что пришло бы ей в голову. Если вы не самозванка и не авантюристка, предъявите доказательства, и я попрошу у вас прощения.

— Все необходимые доказательства находятся у судьи Трента. А теперь прошу меня извинить...

— Не извиню. Я доберусь до сути всей этой тайны. Терпеть не могу тайн. Это пошло и глупо. Либо вы скажете мне, кто вы, либо я наведу на ваш след газетчиков. Они быстро всё разнюхают. Мне достаточно слова.

— Ах!

Женщина словно на мгновение утратила уверенность. Она пытливо взглянула на него-
дующее старое лицо перед собой, затем неопределённым движением поднесла руку к волосам и потупилась.

— Нет, — тихо сказала она. — Не надо... прошу вас.

Она снова подняла глаза и посмотрела прямо в глаза миссис Оглторп. Несколько секунд женщины стояли, глядя друг на друга. Миссис Оглторп заморгала, рот её приоткрылся. Затем она выпрямилась, приняв самый величественный вид.

— Всего доброго, — сказала она. — Прошу простить моё вторжение.

И, хотя голос её дрогнул, величественно направилась к выходу. Хозяйка поневоле нажала кнопку звонка, и лакей открыл дверь.

VI

Прошло три недели. Премьер за это время состоялось почти вдвое больше. «Мэри Огден», как за неимением достоверных сведений называл её Клэверинг, была на каждой. Она больше не вставала со своего места и, казалось, даже старалась держаться незаметно, но неизменно сидела во втором или третьем ряду партера и всякий раз появлялась в новом платье. Приходила она уже после поднятия занавеса, а ускользала до того, как он опускался в последний раз, так что рассмотреть подробности этих прелестных туалетов удавалось лишь ближайшим соседям да зрителям из соседних лож; впрочем, именно поблизости от неё и мужчины, и женщины особенно усердно навещали знакомых.

К этому времени о ней говорил уже «весь город» — или, во всяком случае, та немаловажная и чрезвычайно деятельная умом часть Большого Нью-Йорка, которая посещала премьеры. О ней писали в газетных колонках. Один фельетонист сочинил в её честь десять строк свободным стихом; другой, воспарив на крыльях английского языка семнадцатого столетия, вознёс хвалу её красоте и окружающему её ореолу тайны. Поэт, редактор и остро слов в одном лице нарёк её «Безмолвной драмой». Будь дело во время войны, её неизбежно объявили бы шпионкой; впрочем, и теперь звучали мрачные предположения, будто она большевистский агент, тайно ввезла в страну огромные суммы и передала их красным. Некоторые полагали, что она любовница какого-нибудь богача, недавно привезённая из Европы и отнятая у жертвы революции, которой такая роскошь стала не по средствам. Светловолосые мадонны всегда вызывали подозрение, если о них не было известно всё. Другие, более рассудительные, высмеивали эти затейливые домыслы и уверенно заявляли, что она либо русская беженка с надёжными вложениями в Америке или Англии, либо американка, получившая образование за границей, которая никого не знает в Нью-Йорке и развлекается театром. В самом деле? Отчего же молодая женщина, явно богатая, столь же явно хорошего происхождения и воспитания, приехала без рекомендательных писем? Тут что-то нечисто, сомнений нет. Европейская девушка или молодая вдова из хорошего общества никогда не приехала бы в Америку без компаньонки; как и американка, воспитанная за границей. Женщина с такой «осанкой» прекрасно знает, что к чему. Она просто поставила себя вне общества и знать ничего не желает. Какая-нибудь обедневшая аристократка, связавшаяся с богачом.

Мужчины охотно приставили бы сыщика к каждому миллионеру в городе.

Клэверинг никому ничего не рассказал. Мистер Динвидди тоже придержал язык, хотя и побывал на вечере у одного из самых гостеприимных Искушённых, где незнакомку обсуждали от коктейля до коктейля, а сам он, позабыв об артериях, изрядно затуманил себе голову у щедрого источника возлияний. Клэверингу он не мог сообщить ни обнадеживающих, ни вообще каких-либо сведений. Когда он явился к миссис Оглторп, жадно предвкушая рассказ, та повернула к другу своей юности холодное, застывшее лицо и резко запретила когда-либо снова заговаривать с ней об этом.

— Должно быть, разговор вышел чертовски неприятный, раз бедняжку Джейн так перекосило, — заключил он. — Девушка, несомненно, указала ей на дверь. Подумать только! Джейн! Но дочь Мэри на такое способна. Кто, как не она.

Клэверинг был глубоко разочарован. Он хмуро отворачивался от сплетников, раздиравших на клочки Тему Дня. Нью-Йорку каждый сезон необходима новая Тема. Эта девушка появилась в пору безрыбья. И если только не выяснится, что она живёт уж совсем скандально, перед ней расстелют ковёр. Некоторые шли ещё дальше. В конце концов, взять хотя бы...

Но не было, по-видимому, ни малейшей надежды познакомиться с ней или хотя бы разгадать тайну. Её видели бодро шагающей вокруг водохранилища в короткой юбке и высоких ботинках на шнуровке, из мягкой светлой кожи. Одна торжествующая дама оказалась рядом с ней у перчаточного прилавка и слышала, как она приятным, довольно низким голосом, с несомненно изысканным — и иностранным — произношением заметила продавцу, что в Нью-Йорке перчатки дешевле, чем в Париже. Несколько раз её встречали в изящном маленьком автомобиле, а однажды видели входящей в Публичную библиотеку. Затворницей она, очевидно, не была. У некоторых Искушённых имелись знакомые в высшем свете; их нетерпеливо расспрашивали, но в ответ получали лишь столь же нетерпеливые вопросы.

На шестой из этих премьер, когда незнакомка под конец последнего акта тихо поднялась со своего места, проход перед ней оказался почти загорожен. Зрители поспешно покидали один ряд за другим. Клэверинг, как обычно, шёл прямо за ней, а мистера Динвидди, сидевшего далеко позади, вытеснили с места и вынесли вместе с толпой.

В фойе её окружили мужчины и женщины, проявлявшие столь же откровенный, благовоспитанный и вместе с тем простодушный интерес, с каким смотрят на знаменитую актрису или примадонну перед огнями рампы. Чувство юмора у неё, очевидно, было: пока она медленно пробиралась к выходу, улыбка не раз трогала её губы. Клэверингу казалось, что она вот-вот расхохочется. Сам он кипел от злости. «Чёрт бы их побрал! Спугнут её. Больше ни за что не придёт».

Одна или две дамы поклялись, что заговорят с ней. В конце концов, премьера — своего рода клуб. Но смелости у них не хватило. Толпа расступилась, и незнакомка прошла к краю тротуара ждать автомобиль. Клэверинг, всё ещё надеявшийся, что какой-нибудь пьяный грубиян даст ему случай прийти ей на помощь, последовал за ней и встал так близко, как только осмелился. Подъехал автомобиль, она села. Когда машина тронулась, незнакомка повернула голову и посмотрела прямо на него. И тут Клэверинг уже не сомневался: она рассмеялась.

Он безрассудно бросился вслед, лавируя между автомобилями, двигавшимися в четырёх направлениях, вскочил на подножку такси и велел шофёру гнать во весь дух к Парк-авеню. В этом весёлом взгляде было узнавание! Она заметила его раньше — непременно раньше сегодняшнего вечера!

И тут ему представился случай. Красавицы достаются смелым.

VII

Он отпустил такси на углу её улицы и быстро пошёл к дому. Определённой цели у него не было, но в жилах стучала кровь романтических предков, певших серенады под магнолиями, и он вполне допускал, что станет под фонарём напротив и простоит там всю ночь. Репортёрское чутьё на новости скончалось безболезненно.

Вдруг, к своему изумлению, он увидел, как она сбегала с крыльца и скрылась в приемке перед полуподвальным этажом. Когда он поспешил к ней, она уже снова стояла у калитки.

— Позвольте... Я... — запинаясь, начал он. — Что-нибудь случилось?

На мгновение она испуганно отпрянула, но узкая тихая улица меж стенами домов из бурого камня была залита лунным светом, и она узнала его.

— А, это вы, — сказала она со слабой улыбкой. — Я забыла ключ и никак не могу позвонить. Слуги спят на верхнем этаже и, разумеется, как убитые. Да, вы можете мне помочь. Не согласитесь ли разбить окно, забраться внутрь и подняться к парадной двери?

— Сейчас увидите!

Клэверинг забыл, что он угрюм, неприступен и ему под тридцать четыре. Одним прыжком он преодолел ступеньки, ведущие вниз. Полуподвальные двери были защищены железными решётками, зато старые оконные прутья удалось без труда выломать. Он поднял ногу, выбил стекло, нащупал задвижку, открыл окно и взбежал по узкой тёмной лестнице. В просторном холле горел свет, и ещё через мгновение он отворил дверь. Он ожидал, что его отпустят с высокомерной благодарностью, но она сказала с непринуждённым гостеприимством:

— В библиотеке есть сэндвичи, и я могу предложить вам виски с содовой.

Она лёгким быстрым шагом прошла по холлу; узкий шлейф чёрного бархатного платья извивался за ней. Клэверинг последовал за ней словно во сне, но наметанный глаз отметил прекрасные старинные ковры, резную итальянскую мебель, два великолепных гобелена и большие вазы с цветами, наполнявшими воздух усыпляющим ароматом. Он слышал о доме Огденов, построенном и обставленном лет пятьдесят назад. Супруги, снимавшие его, были бездетны, и дом почти не обветшал. Изгибавшуюся слева лестницу, очевидно, покрыли новым ковром, но его приглушённый красный цвет гармонировал со смягчёнными временем красками старого дома.

Она открыла дверь справа в конце холла, и он оказался в большой библиотеке, стены которой до самого потолка занимали книги. Динвидди рассказывал ему, что Огдены любили

читать, а дед «Мэри» был выдающимся юристом. Комната была выдержана в таких же тёмных тонах, как и холл, но потёртые кресла и диваны выглядели очень уютно. В камине горело полено.

Она достала из ящика ключ и протянула ему.

— Виски и сифон вы найдёте в том шкафчике, мистер Клэверинг. Я держу их для судьи Трента.

— Мистер Клэ... — Он очнулся. — Так вы знаете, кто я?

— Разумеется. Я не настолько безрассудна.

Акцент был едва заметным, но несомненным, и всё же определить его происхождение было невозможно. Так могла говорить европейка, владевшая многими языками, или американка с восприимчивым слухом, прожившая большую часть жизни за границей.

— Однажды я ехала с судьёй Трентом и увидела вас на улице с мистером Динвидди.

— Трент... А!

Впервые он прямо взглянул в эти мудрые, непроницаемые глаза. Вблизи она казалась несколько старше, чем он предполагал, хотя лицо оставалось без единой морщины. Вероятно, дело было в её необычайном самообладании, в ощущении силы и уверенности, которое от неё исходило, — и в этих глазах! Чего только они не видели? Она улыбнулась и налила себе бульона из термоса.

— Вы забыли о своём виски с содовой, — напомнила она.

Он наполнил стакан, взял сандвич и погрузился в глубокое кожаное кресло. Она села напротив, на прямой стул с высокой спинкой, похожий на трон. Её чёрное бархатное платье было словно вазой для тонко вылепленного цветка ослепительной белизны. На шее лежали три нити жемчуга, вызвавшие почти столько же догадок, сколько она сама. Отпивая свой безобидный напиток, она смотрела на него поверх края чашки и опять, казалось, едва удерживалась от смеха.

— Вы скажете мне, кто вы? — прямо спросил Клэверинг. — Право, это не совсем честно.

— Неужели мистеру Динвидди так и не удалось ничего выведать у судьи Трента? Насколько я знаю, он приходил трижды.

— Ни слова.

— Таковы были мои распоряжения, — невозмутимо сказала она. — Мне необходимо провести некоторое время в Нью-Йорке, и у меня есть причины оставаться в тени.

— Тогда вам следовало избегать премьер.

— Но я слышала, что свет на премьеры не ходит. Так мне сказал судья Трент. Я люблю театр. Судья уверял, что на премьерах очень занято и что там меня наверняка не увидит никто из тех, с кем я встречалась в европейском обществе.

— Вероятно, — сухо ответил он, изрядно задетый её спокойной уверенностью, будто только высший свет и имеет значение. — Но люди, которые туда ходят, куда более выдающиеся в единственном смысле, какой нынче чего-то стоит, а женщины нередко одеты ничуть не хуже обитательниц заповедных угодий.

— О, это я заметила, — поспешно сказала она. — Прелестные умные лица, большое разнообразие типов и множество — именно множество — превосходных платьев. Но кто же они, позвольте спросить? Я думала, между нью-йоркским светом и бедняками никого нет, кроме... ну, буржуазии.

Он объяснил ей.

— Ах вот как! Видите ли... Я всегда слышала, что ваши люди искусства и умственного труда довольно эксцентричны... даже нарочито подчёркивают свои странности.

— Когда-то, возможно. Теперь все они слишком хорошо зарабатывают. Впрочем, чудачков найти можно, если захотите. У некоторых внезапно разбогатевших писателей и драматур-

гов жёны выглядят весьма головокружительно. И вы, наверное, заметили сегодня двух девиц из Гринвич-Виллидж, сидевших через проход от вас?

Она содрогнулась.

— Одна просто напоминала готтентотку, но другая! Верхний тонкий слой её коротких чёрных волос был выкрашен в зеленовато-белый цвет, а это измождённое, вырожденческое, зелёное лицо! Чем они занимаются в Гринвич-Виллидж? Это изолятор для неполноценных?

— Когда-то там была колония настоящих художников, но крупная рыба ушла, и теперь там скользят одни мальки, от которых нет ничего, кроме их собственного болезненного фосфорического свечения.

— Как интересно. Что-то вроде Латинского квартала, хотя в Париже я никогда не видела ничего похожего на этих ужасных девиц.

— Вероятно. Мы как народ склонны к преувеличениям. Но всё-таки вы не скажете мне, как вас зовут?

Она закончила ужинать и откинулась на высокую спинку стула, свободно сложив на чёрном бархате длинные тонкие руки, в которых, однако, чувствовалась странная сила. Его снова поразило её полное спокойствие.

— Разумеется. Я графиня Заттиани.

— Графиня Заттиани!

— Графиня Йозеф Заттиани, если быть точной. Я уехала в Европу ещё ребёнком, а по окончании школы гостила у моей кузины Мэри Заттиани в её венском дворце. Я принадлежу к виргинской ветви семьи её матери. Там я вышла замуж за племянника её кузена.

— А! Так вот откуда сходство! — воскликнул Клэверинг.

И тут совершенно внезапно перестал верить всему, что она сказала.

— Сходство?

— Да. Бедного старого Динвидди просто потрясло, когда вы в тот вечер встали и принялись разглядывать зал. Он решил, что увидел призрак своей прежней возлюбленной. Мне пришлось вывести его в переулок и дать ему выпить.

Она спокойно встретила его взгляд.

— Так вот чем объясняется его интерес? Кузина Мэри всегда говорила, что я удивительно похожа на неё в молодости: нас можно было бы принять за мать и дочь, хотя мы всего лишь четвероюродные сёстры.

— А... да... именно. Она... она здесь, с вами?

— Нет, увы. Она в санатории в Вене и, вероятно, останется там надолго. Когда судья Трент написал, что ей следовало бы приехать в Нью-Йорк по делам, она попросила поехать меня и дала мне доверенность. Мой муж погиб в первый год войны, больше меня ничто не удерживало, и, уверяю вас, я была рада приехать. — Она слегка вздрогнула. — О да! Вена! Видеть столько бедствий и так мало иметь возможности помочь! Но теперь, когда нам вернули наши с Мэри состояния, уверяю вас, величайшее удовлетворение в жизни я нахожу в том, чтобы отправлять значительную часть наших доходов нашему поверенному в Вене.

На этот раз в её глубоком голосе звучала несомненная правда. И она всё-таки была живым человеком. Клэверинг уже начал сомневаться в этом, несмотря на её властную, волнующую притягательность. Но влюблялся ли он? Его влекло к ней, она ослепляла его, и романтическое настроение ещё не рассеялось. Но любовь! Несмотря на его подозрения, она словно существовала в каком-то бесконечно далёком от него мире.

— Вы останетесь здесь?

— О да, на некоторое время. Кузину Мэри я видеть не могу, да и Париж уже не тот. Кроме того, судья Трент хочет, чтобы я кое-чему научилась в делах. Он стареет и говорит, что теперь женщины интересуются тем, как вложены их деньги. Должна признаться, я нахожу это чрезвычайно занятым.

— Несомненно. Но ведь вы не будете и дальше жить затворницей? Вы могли бы познакомиться с кем угодно. Судье Тренту достаточно устроить для вас обед. К несчастью, большинство его почтенных друзей гораздо старше вас...

— У меня нет желания с ними знакомиться. В Париже мне время от времени случалось встречать многих из этих пожилых нью-йоркских дам хорошего общества. Все они похожи на какие-то сооружения, со своими слишком маленькими и высоко сидящими шляпками над старыми костлявыми лицами, которые они даже не смягчают пудрой или теми прелестными средствами туалета, что известны каждой европейской светской женщине. А перья! Почему они так любят перья? Не красивые, ниспадающие, а что-то вроде подстриженной изгороди, всё одной высоты, словно садовая клумба — то продолговатая, то круглая. И почему они никогда не выглядят модно, несмотря на дорогие меха и ткани?

— Это отличительный знак их безупречной респектабельности. Старая гвардия ни за что не пойдёт на уступки моде с её сумасбродными переменами. К тому же они совершенно уверены, что вправе одеваться как им вздумается, а им хочется сохранять старую традицию. Разве английские герцогини не таковы же?

— Вот как. Что ж, скучать в их обществе я не намерена.

— Но есть и молодые женщины. Самые элегантные в мире. Вам вовсе незачем скучать со старшими. Неужели вам не хочется общества ровесниц?

Впервые она беспокойно шевельнулась.

— До войны они постоянно бывали в Европе. Я встречала многих. Они меня не интересовали. Я едва понимала, о чём они говорят.

— Но мужчины! Неужели женщина, столь молодая и красивая...

— Ах, мужчины!

Клэверинг никогда ещё не слышал столь глубокого разочарования в женском голосе. Затем в её глазах мелькнул какой-то странный страх, и она словно взяла себя в руки.

«Что же сделал с ней какой-то негодяй?» — подумал Клэверинг с яростным негодованием, чувствуя себя романтиком больше прежнего. Не муж ли? На мгновение он пожалел, что граф Йозеф Заттиани уже недостижим для человеческой мести.

— Вы слишком молоды, чтобы ненавидеть мужчин, — запинаясь, проговорил он. И добавил совершеннейшую банальность: — Вы просто ещё не встретили своего человека.

— Возможно, я старше, чем вы думаете, — сухо сказала она. — И я знала очень многих мужчин, притом самых разных. Но, — добавила она любезнее, — я буду рада, если вы станете иногда меня навещать. Я с удовольствием читаю вашу колонку и уверена, что нам найдётся о чём поговорить.

Клэверинг вспыхнул от гордости, едва не убедившей его, что он вовсе не так пресыщен жизнью, как ему хотелось бы думать. И всё же поднялся.

— Я буду приходить так часто, как вы позволите. Можете не сомневаться. Но мне не следовало так засиживаться. Уже очень поздно, а вы... в общем, вы здесь довольно беззащитны. Думаю, вам нужна компаньонка.

— Уж этого я определённо не сделаю. И если вы покажетесь мне достаточно интересным собеседником, чтобы проговорить с вами до двух часов ночи, я так и поступлю. Приезжайте завтра обедать, если у вас нет ничего более привлекательного. И... — Она на мгновение помедлила, затем добавила со странной улыбкой: — Привезите мистера Динвидди. Упокоить призрака — всегда доброе дело. В половине девятого?

Она проводила его до парадной двери, и, когда он протянул руку, рассеянно подняла свою. Клэверинг был молодым человеком сообразительным и понял её. Он легко поднёс её руку к губам, затем сам открыл дверь и вышел. Быстро шагая к Парк-авеню, он раздумывал, не побродить ли несколько часов: спать ему ещё никогда так не хотелось. И тут он вспомнил о разбитом окне. Нью-Йорк жил в страхе перед «волной преступности». Ни одного полицейского

поблизости не было. Оставить её без защиты — немыслимо. Он медленно вернулся к фонарю напротив её дома и наконец, усмехнувшись, скрестил руки на груди и прислонился к столбу.

Так он простоял часа два, пока не появился неспешно шагающий полицейский. Клэверинг объяснил, в чём дело, и предупредил: если с домом что-нибудь случится, отвечать придётся ему. Полицейский отнёсся к рассказу с величайшим подозрением, пока Клэверинг не назвал свою газету и не подкрепил угрозу банкнотой. Тогда он обещал не спускать с дома глаз, и Клэверинг, усталый, заочевевший и страшно продрогший, отправился домой спать.

VIII

— Чепуха. Ни единому слову не верю. Мать Мэри была из Торнхиллов. Не верю, что у них когда-нибудь существовала виргинская ветвь. Но я скоро выясню. И об этом Йозефе Заттиани тоже. Эта девушка — дочь Мэри Огден.

Они сидели в углу любимого клуба мистера Динвидди, где условились встретиться. Клэверинг пожал плечами. Делиться собственными сомнениями он не собирался.

— Но сегодня вы поедете туда обедать?

— Ещё бы! И буду держать уши открытыми.

Про себя Клэверинг подумал, что графине Йозеф Заттиани ничего не стоит обвести его вокруг пальца, но ответил:

— В конце концов, какое это имеет значение? Она красивая, очаровательная женщина, и обед, несомненно, будет превосходный.

— Всё это хорошо, но меня ещё никогда в жизни ничто так не занимало. Конечно, если она дочь Мэри, я сделаю всё, чтобы ей помочь, — при условии, что у неё хватит честности это признать. Но мне не нравится всё это враньё и притворство...

— По-моему, вы слишком резко выражаетесь. Поразительное сходство встречалось и прежде: взять хотя бы двойников, между которыми никакого родства не установлено. Скорее удивительно, что на всех вообще хватает разных лиц. А она признаёт, что принадлежит к той же семье. Во всяком случае, согласитесь: своим алиби она не воспользовалась, чтобы проникнуть в общество.

— Вероятно, знает, что алиби не выдержит проверки. Женщины быстро докопались бы до истины... Я вот чего боюсь: не выманила ли она эту доверенность у Мэри, когда бедняжка была слишком слаба, чтобы сопротивляться, и не приехала ли сюда прибрать к рукам всё состояние.

— Но ведь судья Трент...

— Ах, Трент! Когда дело касается женщин, он дурак. Всегда был, а теперь дошёл до того, что не может сидеть рядом с девушкой, не распуская рук. Его уже в дома не пускают. Конечно, эта красавица вертит им как хочет. Сегодня же повидая его и выскажу всё, что думаю о его вранье. А если девушка унаследовала материнский ум, ей всё по плечу.

— Я-то думал, ваша Мэри была воплощением всех совершенств.

— Ничего подобного я не говорил. Разве я не объяснял тебе, что она всегда заставляла нас ломать голову? Иногда мне казалось: не будь у неё хорошего воспитания и связанных с ним правил, богатства и положения, из неё вышла бы первоклассная авантюристка.

— Она умела лгать?

— Она была до дерзости правдива, но уверен: не поколебалась бы солгать с три короба, если бы это понадобилось для её целей. Уж хитрости ей было не занимать.

— Что ж, при таких подводных течениях обед обещает быть чрезвычайно интересным. Зайду за вами в четверть девятого. А теперь мне пора: надо писать колонку.

Обычно склонный к сатире и иронии, в тот день Клэверинг был прямо-таки беспощаден. Последнюю пьесу, новую книгу, кинофильм, бестолковую нью-йоркскую полицию, досаждавших ему корреспондентов — всех и всё он рубил до кости. Когда работа была закончена, его

расстроенные нервы необъяснимым образом успокоились. Завтра утром взвоят чужие. Пусть. Он был достаточно честен, а уж орудовать боевым топором вместо клинка толедской стали — его право.

Он позвонил вниз, попросил прислать рассыльного и подошёл к окну, чтобы окончательно успокоить нервы. Уже смеркалось. Каждое окно высоких каменных зданий вокруг Мэдисон-сквер было светящимся прямоугольником. Симфония серого и золотого, которой он никогда не уставал любоваться. Она окружала деловой мир поэзией и красотой. Люди за этими сияющими панно, меньше всего помышлявшие о подобном, вносили свой недолговечный вклад в красоту мира, переносили зачарованного зрителя в царство чистой прелести.

Тонкий слой снега лежал на газонах и скамьях сквера, на статуях и деревьях. Внизу и поодаль, на Пятой авеню, мелькали автомобили, раздавались гудки. Грохот огромного города поднимался к нему, словно поток, прорвавший плотину. Чёрные людские массы устремлялись к метро. Жизнь! Нью-Йорк был воплощением жизни. Ему нравилось пробиваться сквозь эти движущиеся толпы, но ещё интереснее было ощущать себя над ними, в стороне, как сегодня вечером. Людские потоки катились вперёд, не замечая ни наблюдателей высоко над собой, ни устремлённой в небо красоты башни «Метрополитен». Большинство — сущие сурки, уткнувшиеся в землю, но и они составляли часть вечно меняющегося, вечно захватывающего зрелища большого города.

Аркада Мэдисон-сквер-гардена уже была забита мужчинами, и он знал, что очередь в три ряда тянется по Двадцать шестой улице до Четвёртой авеню. Сегодня предстоял боксёрский поединок, и люди стояли там с полудня, покупая у разносчиков яблоки и арахис. Был вторник, обычный полный рабочий день. Пока остальной город трудился или требовал работы, эти люди, казалось, располагали безграничным досугом. И всё же они неизменно были тепло одеты и явно сыты. Они принадлежали к тому, что неопределённо именуют спортивной братией, и деньги у них водились всегда, хотя трудиться им, должно быть, приходилось совсем мало. Армия безработных едва ли была многочисленнее, а очереди за бесплатным хлебом никогда не достигали и половины этой длины. Взад и вперёд разъезжали конные полицейские, чтобы вечерняя схватка не началась раньше времени. Громкий, отрывистый гомон поднимался вверх, сливаясь с рёвом авеню.

Большие часы на башне «Метрополитен» заиграли печальную, сладостно-тревожную мелодию, предвещающую бой. Эти звуки всегда напоминали ему предупреждающий колокол на диком скалистом берегу, но в их переливах слышалось и что-то от Лорелеи: тонкое обольщение бессердечной женщины, которому мучительно трудно противиться.

В дверь постучали. Клэверинг отдал рассыльному свою ежедневную порцию текста. Уже разыскивая мелочь, он вдруг забрал рукопись обратно, сел за стол и, наскоро её пробежав, вставил слово «подлинный». Нью-Йорку необходимо своё Слово, как и своя Тема. «Подлинный», пущенное в обращение Арнольдом Беннеттом, было сейчас в большой моде. Мелкие литераторы едва осмеливались им пользоваться. Оно служило своего рода фирменным знаком Искушённых.

Мальчишка, жуя резинку с невозмутимым превосходством, принял чаевые и ушёл. Клэверинг вернулся к окну. Симфония золотого и серого исчезла. В густых сумерках здания вокруг сквера слились в тёмную бесформенную массу. Только уличные фонари внизу светились фосфорическими шарами на тёмном, беспокойном море.

Через два часа он вышел из гостиницы и направился вверх по Мэдисон-авеню. Двадцать шестая улица опустела; она была так же густо усеяна бумагой, арахисовой скорлупой и прочим мусором, как поезд после загородной увеселительной поездки. Конные полицейские исчезли. Из огромного здания донёсся первый рёв собравшихся тысяч; выражал он одобрение или нечто противоположное, определить было трудно. Они ревели по малейшему поводу и будут реветь без передышки до половины одиннадцатого или до одиннадцати, а потом хлынут из всех две-

рей, раздирая ночь криками, под визг, гудки, скрежет и кашель автомобилей и такси, сбившихся в тесную массу. Затем внезапно мёртвая тишина опустится на этот квартал, ставший теперь деловым, где среди громоздящихся громад бетона и стали лишь изредка ещё жались гостиница или старенький дом из бурого камня — последнее напоминание об ушедшей поре, когда Мэдисон-сквер был средоточием светской жизни.

IX

Когда Клэверинг и Динвидди приехали в дом Огденов, судья Трент уже смешивал коктейли в библиотеке. Это был крупный мужчина, чья фигура, прежде чем отяжелеть, должно быть, была великолепна. Он носил усы, принятые у мужчин его поколения; вместе с остатками волос они отливали хрустальной белизной. Чёрные глаза всё ещё ярко блестели, а на полном дряблом рту играла та лёгкая самодовольная усмешка, которая свойственна старикам, чья уверенность в собственной неотразимости умирает лишь в могиле. Рядом стоял мужчина лет на десять моложе, уже начавший сесть, отчего казался несколько высохшим и припорошённым пылью; однако фигура его оставалась стройной, а чёткие очертания лица ещё не расплылись под слоем плоти. Оба, разумеется, были безупречно ухожены; но даже встретиться они в африканской глуши, одетые в лохмотья и заросшие бородами, как джунглями, знающий человек всё равно признал бы в них ньюйоркцев.

— Входите, входите! — радушно воскликнул судья. — Мадам Заттиани сейчас спустится. Кстати, она предпочитает, чтобы её называли мадам Заттиани. Считает, что в Америке титулы нелепы, если не принадлежат человеку от рождения, — особенно теперь, когда на континенте они стоят примерно столько же, сколько рубли и марки... Мистер Клэверинг, вы знакомы с мистером Осборном? Мадам Заттиани любезно разрешила мне привести его, раз уж собирается небольшое общество. Наши семьи давно дружат.

Клэверинг вложил два пальца в протянутую вялую руку и спокойно встретил холодный оценивающий взгляд. Уверенность ньюйоркцев в том, что все прочие американцы — люди совершенно посторонние, что, словом, родиться не в Нью-Йорке означает совершить непоправимое светское преступление, часто его раздражала, но никогда не вызывала ни малейшего чувства неполноценности. У него были собственные предки, в своё время не менее значительные, чем любые старые голландцы в париках, — которые, напоминал он себе, у себя в Голландии были всего лишь добропорядочными бюргерами. И всё же их последовательность его восхищала. Остальная страна с горечью отзывалась о нью-йоркском высокомерии ещё с восемнадцатого века. А под защитным панцирем это были честные и верные люди. Пока же стоило отвечать им такой же невежливостью.

— Я очень рад, что мадам Заттиани наконец решила выйти из своей раковины, — сказал судья Трент, энергично встряхивая шейкер. — Я давно её уговариваю. Но ей пришлось пережить столько тяжёлого, что, казалось, она желает только покоя. Думаю, переполох, который она произвела на ваших премьерах, Клэверинг, тоже сыграл свою роль. Знаете, было время, когда она нигде не появлялась, не вызвав сенсации, — как до неё бедная Мэри. Но, несмотря на её молодость, всё это теперь кажется почти непостижимо далёким. Конечно, будь у неё возможность после войны жить в Лондоне или Париже, дело обстояло бы иначе, но она застряла в Будапеште и Вене... А!

В комнату вошла мадам Заттиани. На ней было платье из бледно-зелёного шифона с развевающимися рукавами, оставлявшими руки обнажёнными. В приглушённом свете она казалась девушкой, вообразившей себя Ундиной.

Клэверинг услышал, как Динвидди резко втянул воздух сквозь зубы.

— Боже! Ещё больше похожа на Мэри. Нильская зелень была её любимым цветом.

Она приветствовала судью и Клэверинга своей лёгкой, мимолётной улыбкой, затем повернулась к двум другим гостям.

— Вы, должно быть, мистер Осборн: мистера Динвидди судья Трент однажды показал мне на Пятой авеню. Очень любезно с вашей стороны обоих прийти без церемоний. Я вам очень признательна.

Она немного напоминала принцессу, дающую аудиенцию, подумал Клэверинг. Лёгкий акцент, глубокое спокойствие, небрежное движение руки, протянутой для поцелуя, усиливали это впечатление. И, пока она благосклонно принимала уверения гостей в неожиданно выпавшем им счастье, она казалась ещё меньше американкой и ещё больше европейкой, чем прежде. Но Клэверинг впервые задумался: не выражает ли это безупречное спокойствие глубокого равнодушия, почти апатии?... Нет, для этого она слишком молода, как бы ни опалила её война. И улыбалась она сейчас непринуждённо, а когда обратилась к нему, в голосе прозвучало неподдельное удовольствие.

— Вы были необыкновенно добры, что сторожили мой дом до прихода полицейского, — сказала она тише. — Я в самом деле испугалась, когда вспомнила о разбитом окне и всех этих ужасных газетных историях. Но вы стояли под моими окнами, как доблестный рыцарь, и я чувствовала себя в безопасности.

— По правде говоря, я чувствовал себя довольно глупо.

В её глазах было странное, изучающее выражение, и Клэверинг ощутил необъяснимое раздражение, несмотря на всё, что заключалось в её словах.

— Я поступил бы точно так же, будь вы старой и увядшей. Поделом мне. Надо было ещё до ухода догадаться вызвать по телефону сторожа.

— Ах да, конечно. Американские мужчины славятся своей галантностью, не правда ли? Мне они всегда нравились.

Улыбка поднялась к её мудрым проницательным глазам, и Клэверинг покраснел, как школьник. Затем улыбка исчезла, лицо внезапно застыло.

— Интересно... — пробормотала она и резко отвернулась. — Не забудьте ваш коктейль. И нас уже зовут к столу.

Когда все трое разом подняли бокалы в честь хозяйки, мистер Динвидди лишь сделал вид, что пригубил. Сама она отказалась присоединиться к ним, слегка поморщившись.

— Возможно, со временем я стану достаточно американкой, чтобы полюбить ваши странные смеси, но пока коктейли кажутся мне просто отвратительными на вкус. Пойдёмте?

Судья предложил ей руку с той церемонной галантностью, которую умел принимать по желанию, и остальные последовали за ними на почтительном расстоянии: у её мерцающего платья был длинный шлейф. Взгляд Динвидди, казалось, впивался в её плавно покачивавшуюся спину, но он был не из тех, кто станет обсуждать хозяйку, не покинув её дома, и Клэверингу оставалось лишь гадать, какие выводы складываются в этом жадном до впечатлений, циничном старом мозгу.

Длинная узкая столовая находилась в глубине холла и занимала всю ширину большого дома. Как и холл, она была тёмной, обшитой деревянными панелями; внушительная комната, увешанная семейными портретами. Небольшой стол в её конце казался сказочным оазисом. Всё на нём сверкало и переливалось, а цветы были лиловыми, в тон высоким тонким свечам.

— Очень надеюсь, мадам Заттиани, — сказал мистер Осборн, садясь слева от неё, — что вы не поддадитесь нынешнему поветрию и не закрасите белой краской этот прекрасный старый орех. Слишком многие наши дома приобрели чересчур больничный вид. Кажется, сейчас тебя проводят наверх в палату, где встретит сиделка и предупредит, чтобы ты не разговаривал громко.

Наклоняясь к молодой прекрасной хозяйке, он уже не выказывал ни холодности, ни чопорности.

— Ах, вы забываете, что это дом графини Заттиани, — ответила она с улыбкой. — Но признаюсь: будь он моим, я мало что изменила бы. В Лондоне белый цвет вошёл в моду задолго до войны, однако мне он никогда не нравился.

За круглым столом судья Трент сидел напротив хозяйки. Мистера Динвидди и мистера Осборна она посадила по обе стороны от себя и улыбнулась Клэверингу.

— Мне жаль, что я не знакома ни с одной молодой девушкой, — любезно сказала она, хотя в глазах мелькнула искорка. — У вас довольно одинокий вид.

— С чего бы? — проворчал Динвидди. — Он молод, и вы молоды. Это нам, остальным, в пору чувствовать себя лишними.

— Ничуть! Ничуть! — воскликнул судья Трент. — Вы забываете, что мадам Заттиани с младенчества живёт в Европе. Она всю жизнь беседовала с пожилыми государственными деятелями.

— Ну, мы-то, видит бог, не государственные деятели.

От Динвидди всегда можно ждать самой очевидной реплики, подумал Клэверинг, хотя надо признать, без ответа он оставался редко.

— Но во время войны вы, должно быть, видели больше молодых мужчин, чем старых, мадам Заттиани. Насколько я понимаю, Мэри превратила свой будапештский дворец в госпиталь, а вы были её главной помощницей.

— Совершенно верно, хотя и прежде я отнюдь не ограничивалась обществом пожилых государственных деятелей. Но к концу войны я почти забыла, как выглядит молодой мужчина, стоящий на ногах. Да и светская жизнь, впрочем. Единственное, что могло бы соблазнить меня войти в здешнее общество, — надежда организовать помощь голодающим детям Австрии. Кампанию — кажется, вы это так называете? Не только русские дети достойны жалости в Европе, а дети цивилизованных стран всё-таки важнее для будущего мира.

— Ещё одна кампания! — простонал судья Трент. — При одном этом слове Нью-Йорк спешит спрятаться. Непременно выходите в свет, но затем, чтобы отдать должное собственной молодости. Вас слишком долго лишали её прав.

— Настолько молодой я уже никогда себя не почувствую. И ни одна девушка, которой в начале войны было всего шестнадцать, уже не станет похожей на ваших здешних беззаботных барышень. Я сижу в ресторанах, смотрю на них с изумлением, а нередко и со злостью. Какое они имеют право... Впрочем... Что до меня, я вернусь в свет только ради той цели, о которой сказала. Завтраки! Обеды! Балы! Я пресытилась ими ещё до войны. И разучилась вести лёгкую беседу, обмениваться любезностями. Мне говорят, в американском обществе избегают серьёзных тем. А я, увы, стала очень серьёзной.

Она обвела избранных гостей обезоруживающей улыбкой. Они поняли: к ним её слова не относились.

Клэверинг заговорил с жаром:

— Зачем вам скучать на светских приёмах? Если вы хотите собрать деньги для детей, я не только начну кампанию в своей колонке, но и познакомлю вас с несколькими влиятельными редакторами — или приведу их сюда, — поспешно добавил он, заметив изумление в её глазах. — Они с величайшей охотой вам помогут. Им достаточно с вами познакомиться...

— Всё это прекрасно, — перебил судья Трент, который, как и остальные пожилые джентльмены, сердито смотрел на знаменитого молодого фельетониста, ежедневно поучавшего своих восхищённых читателей. — Но для сбора крупных сумм нужен комитет, а никакой комитет — в такого рода деле — не принесёт пользы без имён светских дам, известных нашей демократической публике, ежедневно поглощающей светскую хронику, не хуже королев экрана.

— Что ж... Не знаю. Надо подумать. Такого шага нельзя делать необдуманно.

Клэверинг перехватил быстрый взгляд, которым она обменялась с судьёй Трентом, и старый джентльмен, склонившись над рыбой, поджал губы в самодовольной усмешке посвящённого.

«Чёрт бы его побрал! — подумал Клэверинг. — Он знает всю правду и посмеивается над нами втихомолку».

Мадам Заттиани изящно перевела разговор на европейскую политику, и он наблюдал за ней с видом стороннего зрителя. Отношение Трента к ней его забавляло. В нём было больше почтения и восхищения, чем влюблённости... При всём своём очаровании она была уже не первой молодости, а возбудить вкус этого стареющего гурмана мог лишь незрелый плод. Но двое других! Клэверинг сардонически улыбнулся. Динвидди ловил каждое её слово и почти не ел. Он был очень красивым мужчиной, несмотря на блестящую лысину и густые белые усы. Черты лица тонкие и правильные, глаза, хотя и несколько выпуклые, ясные, голубые, кожа чистая, фигура лишь слегка располнела. Ему было всего шестьдесят два.

Осборн, которому на вид едва исполнилось пятьдесят, был достаточно хорош собой и умён, чтобы заинтересовать любую женщину. Он тоже проявлял удивительное равнодушие к превосходному обеду, а ведь оба джентльмена достигли того возраста, когда, пусть из тщеславия и заботы о пищеварении ещё остерегаешься излишеств, самые искренние радости находишь за столом.

То, что, несмотря на намеренную отчуждённость, она обладала необычайной чувственной притягательностью, Клэверинг, конечно, понял с самого начала. Разве этого не почувствовал каждый мужчина на премьерах? Красоты в Нью-Йорке было с избытком. Чтобы незнакомка, даже окружённая тайной, могла так завладеть вниманием пресыщенных ньюйоркцев и удержать его, она должна была обладать не только необычной внешностью, но и тем единственным неотразимым магнетизмом. Даже театральные критики, которые выглядели так, словно ненавидят всех на свете, смотрели на неё с редким для них одобрением.

Но сегодня Клэверинг увидел нечто большее, чем природную притягательность, за которую она не отвечала и к которой до сих пор казалась странно равнодушной. Теперь перед ним явно было обаяние, пущенное в ход. Она блистала и старалась: говорила о хаосе, всё ещё именуемом Европой, ярко, с поразительной ясностью, и было очевидно, что её знания почерпнуты не из газет и салонных пересудов. До войны она, несомненно, была лично знакома со многими государственными деятелями и столь же несомненно продолжала встречаться с ними в Вене и Будапеште при всех последующих переменах, независимо от того, находились они у власти или нет. Старую германскую военную партию она ненавидела безоговорочно, а о покойном правителе двуединой монархии и его тоскующем по престолу наследнике отзывалась без малейшего почтения. Подобно другим мыслящим людям, она считала большевизм неизбежной стадией для столь отсталой и невежественной страны, как Россия, но, к его удивлению, республиканский идеал правления признавала высшим из всего, что до сих пор создал ограниченный человеческий разум, ещё весьма далёкий от последней и наивысшей ступени развития. По её мнению, единственная надежда нынешней цивилизации заключалась в том, чтобы любой ценой не допустить прихода пролетариата к власти, пока правящие классы и работодатели не наберутся достаточно мудрости, чтобы примириться с ним и относиться к нему с той же беспристрастной справедливостью, какую они ныне берегут для себя. «И заняться собственным воспитанием в духе книги „Становление разума“», — вставил Клэверинг. Иначе за любой победой масс последуют те же страшные последствия, что в России, — иными словами, те же, какими с начала истории сопровождалась все восстания рабов. Когда угнетённый, никогда не знавший ничего, кроме своего унижения, со всеми страданиями и вопиющей несправедливостью, какие заключены в этом слове, оказывается наверху, он неизбежно начинает мучить и убивать прежних угнетателей. Ему недостаёт ума предвидеть конечную бессмысленность своих поступков или понять, что единственная надежда мира — равная справедливость для всех классов. Он

лишь утоляет первобытную жажду мести, сегодня точно такую же, как во время первого восстания рабов в Риме; режет, убивает, разрушает, а затем падает под собственной тяжестью, и уцелевшие разумные люди восстанавливают цивилизацию из руин.

— Беда в том, что у тех, кто её восстанавливает, ума всегда немного недостаёт, и через некоторое время всё приходится начинать заново...

Это был отнюдь не монолог: мысли рождались в обмене доводами с мистером Осборном, считавшим, что требованиям рабочих нельзя уступать ни на дюйм, и с мистером Динвидди, который с тех пор, как сблизился с Искушёнными, смутно ожидал какого-то идеального обновления общественного строя, хотя социализм у них уже несколько вышел из моды, а большевизм давно отправили на чердак.

Но политические взгляды мадам Заттиани, при всей их здравости, занимали Клэверинга не особенно. Европейки её круга, пусть и не столь свободомыслящие, всегда рассуждали о политике толково. Гораздо больше его занимало её намеренное, вполне сознательное стремление поработить обоих мужчин, сидевших рядом, — и полный успех этого стремления. Изредка она бросала ему слово, а однажды, как ему показалось, удостоила его взгляда, в котором мелькнуло тайное насмешливое понимание; но он был рад, что остаётся на внешнем краю этого зачарованного полукруга. Достаточно наблюдать с относительно безопасного расстояния. Наступит ли затем его черёд, или она лишь намерена так заморочить головы этим старикам, чтобы в их восторженных умах не осталось места ни для подозрений, ни для критики? Он, несомненно, слишком чужой... Она бросила на него ещё один взгляд... Не отведена ли ему роль сочувствующего друга?

Затем она принялась разговаривать Динвидди и Осборна, и ему показалось, что дело не только в искусстве опытной хозяйки. Оба говорили хорошо, были умны и осведомлены, и он сам с интересом слушал их рассуждения об американской политике. Судья, чьё пищеварение оставалось безупречным, был всецело занят шампанским и обедом. В выражении её лица, пока она слушала то одного, то другого, изо всех сил старавшихся её развлечь, было что-то тревожное, почти тоскливо-ждушее. У этих двух мужчин её собственного круга были приятные, чёткие, хорошо поставленные голоса; лучше воспитанных мужчин она не встречала и в Европе, а держались они так же галантно, как в молодости. Он на мгновение представил, какими поведением они, должно быть, были. Ни один не женился, но оба некогда пылко любили, и стареющие женщины до сих пор говорили о них с нежной усмешкой. А ведь изменилась только оболочка. Они вели достаточно порядочную жизнь и, несомненно, могли и теперь полюбить искренне и романтически. Собственно, они словно нарочно подтверждали эту возможность — с вечным мужским простодушием. И всё же природа сыграла с ними такую подлую шутку. Молодое сердце в старой оболочке. Взрослые мальчики, одной ногой стоящие в могиле. Чтобы заслужить расположение женщины, им оставалось полагаться лишь на ум и обходительность, тогда как она мечтала о мужчине с густой шевелюрой над мозгами и с притягательной силой ровесника, на которую могла бы отозваться её собственная. Бедные старые боевые петухи! Какая же негодяйка природа... Или это всего лишь тирания Идеи, тщательно внушённой на заре общественной жизни, наряду с прочими произвольными законами, ради продолжения рода? Фетиш тела. Голый материализм... Впрочем, им приходилось не так тяжело, как женщинам, пережившим пору своего главного предназначения. За ними, по крайней мере, оставалось право добиваться; да и бессмертная мужская самоуверенность — в конце концов, величайший утешительный дар природы — никогда их не покидала.

Клэверингу пришло в голову, что она проводит какой-то опыт и над собой, а не просто смущает и пленяет этих почтенных джентльменов материнского поколения. Но зачем? То небрежно вступая в разговор, то совсем от него отстраняясь, он наблюдал за ней со всё большим, теперь уже совершенно беспристрастным интересом. Ему почти чудилось, что она старается быть чем-то большим, чем любезная и приветливая хозяйка, что намеренно пытается уви-

деть в них мужчин, имеющих полное право очаровать женщину её лет и красоты. Что ж, такое уже бывало. Немолодые мужчины, обладавшие обаянием и характером, завоёвывали и удерживали любовь женщин на целых тридцать лет моложе. Возможно, она принадлежала к тому замечательному меньшинству, которое отказывалось подчиняться Древней Идее — железному закону, созданному дальновидными мужчинами, когда Земля была молода и малолюдна... И всё же — откуда эта странная настойчивость, это... понять было невозможно... Несомненно, его живое воображение разыгрывалось. Вероятно, она просто была участлива... Но ближе к концу обеда её поведение изменилось, хотя и слишком неуловимо, чтобы это заметил кто-нибудь, кроме стороннего наблюдателя. Клэверингу показалось, что под всё ещё оживлённым лицом в ней что-то умерло. Он увидел, как её взгляд скользнул с лысины Динвидди на плоскую щёку Осборна... Губа искривилась, в глазах вспыхнуло яростное презрение, прежде чем она поспешно опустила веки... Ему показалось, что она с радостью встала из-за стола.

Х

— Ну что? — спросил Клэверинг, когда они с Динвидди вышли из дома; Осборн уехал вместе с судьёй Трентом. — Вы всё ещё считаете её низкой самозванкой?

— Не знаю, что я думаю, да и не очень-то об этом забочусь. Пусть хоть укладывает меня в свой чемодан, как мы говорили в молодости. Она настоящая светская дама и очаровательная женщина; в первом сомнений не больше, чем во втором. Она похожа на Мэри Огден и не похожа. Пожалуй, она может оказаться просто родственницей: среди нескольких тысяч предков одни и те же типы должны были повторяться не раз. Если ей нужен нью-йоркский свет, особенно если нужны деньги для голодающих детей, я сделаю всё возможное. Но всё-таки выясню, кто она. Завтра разыщу Гарри Торнхилла — он затворник, но меня примет, — и постараюсь найти какого-нибудь венгерского беженца. Обыкновенной самозванкой она быть не может, это несомненно. В её жилах течёт та же кровь, что у Мэри, а если она дочь Мэри и хочет это скрыть — её дело. Я её никогда не выдам.

— Что ж, желаю удачи. Рад, что всё прошло так хорошо.

Они расстались у дверей дома, где жил мистер Динвидди, и Клэверинг медленно пошёл к себе, глубоко задумавшись. Графиня Йозеф Заттиани внушала ему тревожное недоверие, и он уже не был уверен даже в том, что она ему нравится.

Однако в следующий понедельник вечером он вовсе не прочь был одержать заметную личную победу. Когда театральный критик Эбботт, сидевший по соседству с мадам Заттиани, по своему обыкновению поспешно вышел после первого акта, Клэверинг скользнул на освободившееся место. Она приветливо улыбнулась, но говорить в таком шуме было невозможно. Это была великая премьера. Одна из ведущих актрис Америки вернулась на сцену в превосходной пьесе, и её поклонники, словно единый человек, хлопали, топали и кричали; по всему залу мелькали платки. Когда после пятнадцатого вызова занавес опустился, зажёгся свет и бурная овация сменилась возбуждённым говором, мадам Заттиани протянула Клэверингу руку.

— Смотрите! Я разорвала перчатку. Меня тоже увлёк общий восторг. Как великодушны ваши соотечественники! Я ещё никогда не слышала такого искреннего, такого... ах... безоглядного отклика.

— Мы любим иногда дать себе волю, а театр — безопасное место. Кстати, одно из лучших качеств Нью-Йорка — его верность двум-трём уже немолодым актрисам. Вся страна помешалась на молодости. Невероятно скверные книги производят фурор только потому, что от начала до конца прославляют послевоенную молодёжь в худших её проявлениях; на сцене почти то же самое. Но ньюйоркцы слишком давно и хорошо знают театр, чтобы не ценить глубоко его искусство, и будут воздавать должное прежним любимицам, пока те играют в хороших пьесах.

— Но это прекрасно... Я часто хожу на дневные спектакли и нередко ужасно скучаю. И читаю ваши новые романы, чтобы не только развлечься, но и чему-нибудь научиться. Мне так

хочется понять страну, в которой я родилась. Много для меня прояснилось! Удивительно, как хорошо пишет большинство ваших авторов, — но именно только хорошо. У столь немногих есть собственный стиль. И даже у лучших почти все героини, по-моему, слишком молоды. Я и до войны читала немало американских романов — они доходили до нас в изданиях Таухница, — и уже тогда меня поражала эта исключительная поглощённость молодостью.

— Что ж, молодость прекрасна, не правда ли? — Он улыбнулся, глядя на её прекрасное лицо. — Но заметьте: многие наши романисты, способные к настоящему психологическому анализу, доводят своих героинь до второй молодости, и, когда наконец доведут, едва ли не слышишь их вздох облегчения.

— Да, но они всё ещё отстают от европейских романистов, которым женщина интересна в любом возрасте, и умные читатели с ними согласны. Молодые женщины дают мало материала для психологического анализа. В них ещё всё слишком изменчиво.

— Совершенно верно. Но боюсь, наша страна слишком молода, чтобы терпеть героинь средних лет. При всех наших поветриях мы насквозь пропитаны условностями. У нас есть несколько чугунных формул жизни, и любовь мы связываем только с молодостью. Думаю, нам смутно представляется, будто осенняя любовь несколько неприлична.

— А вы сами? — Она испытующе посмотрела на него. — Вы тоже во власти этого наваждения?

— Я? Помилуйте, нет. В семнадцать лет я был влюблён в сорокалетнюю женщину.

Его глаза горячо смотрели в её глаза, и она вдруг спросила:

— Вы думаете, мне сорок?

— Ни в коем случае!

— Да, я молода, — сказала она с глубоким вздохом довольства. — Но посмотрите! Я ни на что не смотрю, а вижу всё.

Клэверинг огляделся. В ложах и на соседних местах все вытягивали шеи. Зрители впереди — и, несомненно, позади — явно прислушивались, хотя могли уловить лишь отдельные слова негромкого разговора. Те, кто сидел по другую сторону прохода, либо таращили глаза от изумления, либо сверлили его злыми взглядами. Он тихо рассмеялся.

— Сегодня я самый ненавистный человек в Нью-Йорке.

Затем внезапно спросил:

— Если вы хотите избежать высшего света, почему бы не познакомиться с этим обществом? Совершенно новые впечатления, да и разнообразие среди книг и спектаклей.

— Возможно... когда-нибудь, если вы будете так любезны это устроить. Но люди искусства и знатоки прекрасного мне не чужды. В Лондоне их, разумеется, принимают, ищут их общества. В Париже меньше, но всё же встречаешь — самых выдающихся. В Берлине мужчин могли представить ко двору, женщин — нет. В Вене... что ж, гений не прибавляет дворянских гербов к родословной. Но, увы, столько одарённых людей выходит из буржуазии, а то и из ещё более низких слоёв. Примут их или нет — во многом зависит от того, как они держатся за столом.

— О, уверяю вас, наши знатоки прекрасного ведут себя за столом превосходно!

— Не сомневаюсь, — любезно ответила она. — Мне кажется, американцы вообще ведут себя за столом лучше всех в мире. Правда ли, что здесь никогда не ставят на стол зубочистки?

— Господи, конечно!

— А в Европе вы увидите их на любом аристократическом столе, включая королевский.

— Ещё один довод в пользу революции... Ах, чёрт!

Свет погас. Клэверинг приподнялся, затем снова уселся и сложил руки на груди. Над ним стоял мужчина.

— Займи моё место, Билли, ладно? — небрежно попросил он знаменитого критика. — Всего на два ряда дальше.

Знаменитый критик взглянул на него с ненавистью, издал звук, похожий на шипение, помедлил достаточно долго, чтобы возникла угроза насилия, затем, словно ищейка с поджатым хвостом, поплёлся по проходу.

— Скажите, как вам всегда удаётся доставать такие завидные места? — спросил Клэверинг после второго акта. — В Нью-Йорке нет ничего труднее, чем достать хорошее место — да вообще хоть какое-нибудь — на премьеру. Все эти люди, и я в том числе, пользуются какими-то связями: знают автора, ведущего актёра, директора театра. Многих из нас извещают задолго до премьеры.

— У судьи Трента есть связи, как вы выражаетесь.

— Это всё объясняет. По этому поводу строили почти столько же догадок, сколько о вас самой. Что ж, на этот раз, полагаю, придётся уступить. Но я вернусь.

Он уступил место мистеру Динвидди и вышел покурить. Фойе было полно, и его тут же окружили. Кто она? Где он с ней познакомился? Ах он негодяй, прячет её от всех! Изменник! Он вкратце удовлетворил их любопытство. Ему довелось познакомиться с судьёй Трентом, который управляет её имуществом. Сам он знает эту даму всего неделю. Да как-то не пришлось в голову рассказать о ней тем друзьям, с которыми успел повидаться. Слишком занят был поисками материала для проклятой колонки. Да, пожалуй, позже он сумеет их представить. Она приехала без рекомендательных писем, а поскольку родилась в Виргинии, ещё ребёнком уехала за границу и, едва выросши, вышла замуж за иностранца, то в Нью-Йорке практически никого не знает и, по-видимому, знать не желает. Но ему кажется, что ей уже становится скучновато. Прежде чем впервые пойти в театр, она целый месяц провела здесь, отдыхая. О да, она бывает очень оживлённой. Интересуется всем, чем и должна интересоваться женщина её ума. Но война её измучила. До прошлой недели она не виделась ни с кем, кроме судьи Трента...

Одним глазом он следил за всё ещё обиженным Эбботтом, который не желал усугублять его торжество, присоединившись к окружившему его временному двору, и ускользнул до начала последнего акта. Динвидди со вздохом уступил место, но выглядел раздумавшимся и счастливым.

«Бедный старикан», — подумал Клэверинг, встретив приветливую улыбку хозяйки соседнего кресла, и рассказал ей о переполохе в фойе.

— Как забавно! — сказала она. — Всё-таки люди так наивны, даже в таком огромном городе, как Нью-Йорк.

— Люди со столь деятельным умом, как у этой публики, никогда не пресыщаются жизнью, сколько бы ни притворялись. Но ведь и у вас были триумфы в Европе.

— О да. Однажды весь зал — это было в опере — встал, когда после первого акта я вошла в свою ложу. Но это было тысячу лет назад, как и всё, что случилось до войны.

— Такого женщина, должно быть, никогда не забывает.

— Иногда об этом грустно вспоминать.

— Динвидди рассказывал, что с вашей кузиной, урождённой Мэри Огден, однажды произошло нечто подобное. Для неё это, несомненно, грустное воспоминание.

— Да, Мэри в своё время была одной из первых красавиц Европы. А какое обаяние! Мужчины от неё сходили с ума — именно с ума! Старение далось ей очень тяжело. Муж её был красив и привлекателен, но... к счастью, предпочитал других женщин и вскоре стал слишком равнодушен к Мэри, чтобы ревновать. Он принадлежал к той породе мужчин, которых ни одна женщина не способна удержать, но и Мэри скоро стала к нему столь же безразлична. Зато сколько у неё было утешений! Она могла выбирать. Горький день настал для Мэри, когда мужчины стали покидать её ради более молодых.

— Но я думал, европейские мужчины не такие слепые поклонники молодости, как мы.

— Да, до известного предела. Мэри была слишком умна, слишком блистательна, слишком осведомлена во всём, о чём говорят в салонах, чтобы мужчины когда-нибудь перестали к

ней тянуться. Но как всё изменилось! В Европе и у совсем пожилых женщин бывают любовные связи, однако, увы, свести мужчину с ума они уже не могут. Тут опыт встречается с опытом, есть духовная близость, раздувание старого пепла — или страсть, созданная воображением. Очень печальна жизнь женщин, превративших мужчин в предмет культа, а в этом искусстве европейка достигла высшего совершенства.

Запоздавший занавес поднялся, и зал умолк. Публика премьер, в отличие от менее избранной, никогда не позорит себя шёпотом и болтовнёй, пока актёры на сцене.

В конце этого, последнего, акта, когда зрители уже стоя неистово аплодировали и чуть ли не воем требовали автора «первого подлинного успеха сезона», Клэверинг и мадам Заттиани быстро направились к выходу. Ещё несколько человек тоже спешили прочь: такси занимали их больше, чем авторы.

Он помог ей сесть в автомобиль, и она предложила ему поехать с ней — съесть сандвич и выпить виски с содовой. Он на мгновение замялся.

— С удовольствием, — сказал он. — Но я, пожалуй, пройдусь. Так... так будет лучше.

— А!

Странное выражение, за ту секунду, что оно продержалось на её лице, словно изгнало из него и молодость, и красоту; оно отразилось даже в ноздрах. Назвать его сардонической насмешкой было бы недостаточно. Затем оно исчезло, и она ласково сказала:

— Вы очень предупредительны. Буду вас ждать.

Пешком он не пошёл. Он взял такси.

XI

Она открыла дверь, когда он взбегал по ступеням.

— Я никогда не заставляю слуг дожидаться меня, — сказала она. — Судья Трент предупредил, что в Америке прислугу так же трудно удержать, как найти, и приходится ей потакать. Когда я подумаю, сколько плачу этим избалованным созданиям и сколько еды они поглощают, а потом вспомню моих полуголодных друзей в Австрии, мне становится дурно — дурно!

Возразить против заключённой в этих словах непреложной истины было нечего, и Клэверинг молча последовал за ней в библиотеку. В камине ещё горели дрова; он поспешно подбросил новых. Они наскоро поужинали стоя, затем сели в мягкие кресла по обе стороны очага.

— Почему бы вам не привезти сюда своих слуг? — спросил он. — Со временем демократия, возможно, их испортит, но пока вы жили бы с удобствами. Горничную-то вы, конечно, привезли?

— С самого начала войны и до последнего времени у меня не было горничной. Я почти не выходила из госпиталя. Бог знает, где остальные мои слуги. Молодых мужчин мобилизовали, а те, кто вернулся живым, либо погибли во время революции, либо сами стали революционерами. Новое правительство, несомненно, превратило бы будапештский дворец Мэри в многоквартирный дом, если бы там всё ещё не помещался госпиталь. Мы уехали во время революции и жили в Вене. Слуги, заражённые большевизмом, были бы ещё хуже здешних.

— Вам приходилось бывать в опасности?

— О, много раз, — равнодушно ответила она. — А кому не приходилось?

— Это и подорвало силы вашей кухни?

— И это, и тяжёлая работа в Вене: она пыталась помогать нуждающимся, сама едва не голодая. Денег у нас, разумеется, почти не было, пока правительство Соединённых Штатов не вернуло наше имущество.

— Когда она поправится, то придет к вам?

— Нет, Мэри Заттиани больше никто не увидит.

— Вот как? Всё настолько плохо? Её друзья будут огорчены. Насколько я понимаю, до войны они время от времени виделись с ней за границей, особенно миссис Оглторп. Этот старый круг очень предан своим.

— Предан! О да, они преданны. Миссис Оглторп готова была сдать меня полиции. Кажется, она вообразила, будто я убила Мэри — несомненно, во время революции, когда это было совсем нетрудно. И, по-видимому, её ужасно возмущало моё сходство с Мэри в молодости: словно я что-то украла.

— Наверное, вы заставили её почувствовать свой возраст. Удивляюсь, что вы её приняли.

— Я спускалась с лестницы, когда она шла через холл. Будьте уверены, я не стала бы с ней встречаться, если бы могла этого избежать.

— Почему?

Он беспокойно поднялся с кресла и прислонился к каминной полке.

— Это прозвучало бестактно. Боюсь, все мои вопросы были бестактны. Но я должен вас предупредить: насколько я понимаю, и мистер Динвидди, и миссис Оглторп считают, что здесь что-то неладно... то есть неясно.

— В самом деле? — Это, казалось, чрезвычайно её позабавило. — Как интересно. Разумеется, о любопытстве мистера Динвидди я знала от судьи Трента, но мне показалось...

— О да, вы совершенно сразили его. Но, думаю, теперь он ещё любопытнее прежнего. Я... мне хотелось бы, чтобы вы мне доверились. Тогда я, возможно, сумел бы лучше вас защитить, если понадобится.

— Вы не верите, что я та, за кого себя выдаю?

— Ужасно говорить такое женщине вроде вас, но...

Он ожидал, что она величественно поднимется и велит ему покинуть дом, но она лишь снова улыбнулась.

— Вы забываете о судье Тренте. Неужели, будь я самозванкой, он поручился бы за меня?

— Думаю, вы способны заставить любого мужчину поверить во всё, что пожелаете.

— Кроме вас.

— Не забывайте: газетчик... Впрочем, буду говорить только за себя.

Он сунул руки в карманы и постарался придать лицу привычную мрачность, но с неприятным чувством подозревал, что выглядит лишь просительно и по-мальчишески, а эта искушённая светская женщина смеётся над ним.

— Я хочу знать ради самого себя, — выпалил он. — Понятия не имею, почему вас подозреваю, и вполне возможно, что вы именно та, за кого себя выдаёте. Во всяком случае, вы слишком умны, чтобы не обеспечить себе алиби, которое нелегко опровергнуть. Но в тот первый вечер я что-то почувствовал... не только то, что вы европейка и совершили необычный поступок, — это-то я сразу понял... Было что-то ещё... Не думаю, что сумею выразить это словами... Вы были там, и всё же вас там не было... Из ваших глаз словно смотрел кто-то другой... Даже когда Динвидди решил, что всё объяснил...

— Когда он предположил, что я внебрачная дочь Мэри Заттиани? Бедная Мэри! Она всегда хотела дочь — то есть когда её собственная молодость миновала. Потому-то она меня и любила. Вы считаете, что я незаконнорождённая дочь Мэри?

— Считал. Теперь нет... Не знаю, что думать... Я так и не избавился от того первого впечатления. Не до конца.

Она чуть шевельнулась. Не от беспокойства ли? Он ужасно смутился, но решил не отступать и не сводил глаз с её лица, всё ещё сохранявшего выражение насмешливого веселья.

— Но вы думаете, что я какая-то авантюристка.

— К вам это слово неприменимо. Вы, несомненно, дама высшего круга.

— Разумеется, я могла бы оказаться актрисой, — невозмутимо сказала она. — Возможно, когда началась война, я играла на сцене в Вене, случайно сблизилась с графиней Заттиани,

благодаря необычайному сходству вошла к ней в доверие — наша кровь могла встретиться и смешаться ещё во времена кроманьонцев, — похитила её бумаги, выведала всё о её юности... О светской жизни графини в Европе, конечно, знал каждый. Затем с помощью влюблённого клерка подделала доверенность, отравила её — и вот я здесь!

Он рассмеялся.

— Превосходный сюжет для кино. Новый подход, как они выражаются. Это мне в голову не приходило. А хорошая актриса кого угодно убедит в чём угодно. Однажды я слышал, как кинозвезда — лучшая молодая аристократка по внешности и манерам из всех, кого я видел на экране, — пересказывала режиссёру телефонный разговор: «Я ему говорю, а он мне говорит, и тут я поняла, что он меня не слышает».

Впервые с тех пор, как он её знал, она запрокинула голову и от души расхохоталась. Даже глаза стали молодыми, а смех был музыкальным и волнующим.

Потом она спросила:

— И вы считаете меня актрисой, которой каким-то образом удалось получить образование?

— Думаю, вы актриса, но не такого рода. Ваш полёт фантазии меня не убеждает.

— Может быть, вы думаете, что мне пересадили личность Мэри и теперь она существует рядом с моей в этой случайной оболочке? В Вене есть великие учёные.

— А! — Он пристально посмотрел на неё. — Кажется, уже теплее. Как в игре: холодно, тепло...

Она снова рассмеялась, но глаза сузились, почти закрылись.

— Боюсь, вы не только очень любопытный, но и очень романтичный молодой человек.

— Заслуженный упрёк. Да, мне любопытно. Но дело не столько в любопытстве, сколько... в интересе к вам.

— Надеюсь, вы в меня не влюбляетесь.

Её глубокий голос стал выше, зазвучал легко и весело.

— Я уже наполовину влюблён. Не знаю, что будет дальше...

— И вы хотите обезопасить себя, разочаровавшись во мне?

— Возможно.

— И считаете моим долгом...

— Возможно, я всё равно влюбился бы, но мне хотелось бы понимать своё положение.

У меня врождённое отвращение к тайнам вне романов и театра.

— А...

Она посмотрела в огонь.

— Мистер Динвидди, несомненно, наводит справки. Если он подтвердит мой рассказ, вы всё равно не поверите?

— Я буду знать, что за всем этим скрывается что-то ещё.

— Вы, должно быть, были хорошим репортёром.

— Одним из лучших.

— Наверное, в этом и дело.

— Отчасти. Думаю, будь на вашем месте кто-нибудь другой, мне было бы совершенно всё равно. Чужие дела меня не волнуют. Из простого любопытства я уже вырос.

— Но это ведь не совсем относится к делу? Всё сводится к одному: вы боитесь в меня влюбиться.

— Вы не похожи на женщину, любовь к которой принесёт мне что-нибудь хорошее.

— Почему бы на этом и не остановиться?

— Думаю, лучше всего мне совсем уйти.

Она быстро поднялась и подошла к нему вплотную.

— О нет! Я вас не отпущу. Вы единственный человек на этом континенте, который мне интересен. Я хочу вашей дружбы и получу её. К тому же согласитесь: я ничего не сделала...

— О да, вы ничего не сделали. Вам достаточно существовать.

Он удивлялся, что у него не возникает желания прикоснуться к ней. Она была прелестна, смотрела почти умоляюще и казалась совсем юной. Но от неё исходила сила, а такой подбородок не мог смягчиться.

Он вдруг спросил:

— Сколько мужчин были в вас влюблены?

— О! — Она неопределённо развела руками. — Разве всё помнишь?

И в глазах появилось то выражение, которого он больше всего не любил: древней мудрости, разочарованной и презрительной.

— Вы слишком молоды, чтобы их было так уж много. Да и война отняла немалую часть вашей жизни. Не думаю, что вы кружили головы искалеченным солдатам или даже врачам и хирургам.

— Разумеется, нет. Но когда рано выходишь замуж... А в Европе жить начинают рано.

— А сами вы сколько раз любили?

— На этот вопрос я могла бы ответить точно, но не стану.

Он быстро подсчитал.

— Четыре года войны. Предположим, вам тридцать два, хотя порой вы кажетесь старше, порой моложе, и замуж вы вышли в семнадцать. Значит, остаётся... ну, одиннадцать лет до начала войны. Надеюсь, вы не влюблялись каждый год?

— О нет, я верная душа. Положим, по три года с третью на каждый приступ.

— Иногда вы говорите на удивление по-американски для человека, покинувшего страну в два года.

— Не забывайте: моя семья уехала вместе со мной. К тому же мы с Мэри всегда говорили по-английски — по-американски, если угодно. Она необыкновенно гордилась тем, что американка. Мы читали все американские романы, как я уже говорила. По ним можно изучить и устойчивые, и мимолётные обороты речи. Кроме того, я постоянно встречалась с американцами.

— Неужели? Тогда большинство из них сейчас, должно быть, в Нью-Йорке. Несомненно, они были бы рады скрасить ваше одиночество.

— Я вовсе не одинока и не испытываю ни малейшего желания видиться с кем-либо из них. Только одно могло бы меня побудить к этому: уверенность, что удастся собрать значительную сумму для женщин и детей Австрии.

— А! Значит, вы всё-таки пошли бы на риск?

— Риск? Это были самые случайные знакомства. Вероятно, обо мне давно забыли. За год до войны я уже никуда не выезжала из Венгрии, а в пештском обществе американцев почти не встретишь. Ещё две или три американки вышли замуж за венгров, но они предпочитали Вену, а я — европейцев. Я едва их знала... К тому же Заттиани много. Родня огромная.

— То есть вы полагаете, что были бы в безопасности, — подхватил он.

— Боже мой! С вами я чувствую себя словно на свидетельском месте. Но да, в полной безопасности.

— И вы действительно верите, что кто-нибудь способен вас забыть?

— Я не так тщеславна, как вам кажется.

— Вы имеете на это полное право. Предположим... предположим, что-нибудь возбудит подозрения старых друзей графини Заттиани и они начнут наводить справки в Вене?

— Они её не увидят. И их посланцы тоже. Санаторий доктора Штейнаха неприкосновенен.

— Штейнах... Штейнах... Где я недавно слышал это имя?

Её глаза широко раскрылись, но она тут же опустила веки. Отвечая, она слегка дрогнувшим голосом сказала:

— Он великий врач. Он сохранит тайну бедной Мэри до конца её жизни, и никто в Вене не усомнится в его слове. Расследование было бы бесполезно.

— Значит, она всё-таки там? Надо полагать, вы хотите сказать, что она умирает от неизлечимой болезни или лишилась рассудка. Но не думайте, будто я намерен допытываться об этом. Мне никогда и в голову не приходило, что вы... Ах, не знаю, чему верить!.. Неужели вы никогда мне не расскажете?

— Кто знает... Нет, думаю, нет! Нет! Нет!

— Значит, что-то всё-таки есть?

— Знаете, почему вы всё твердите эту нелепость: будто я и та, кто я есть, и в то же время не та? Неужели не понимаете, как это просто объясняется?

— Нет, не понимаю.

— Всё дело в том, что европейские женщины, воспитанные среди придворных интриг и условностей того, что мы называем светом, усваивают искусство любовной игры, едва выйдя в общество. Там мужчины создают культ женщин, а женщины — мужчин. В такой среде искренность ставит в тупик сильнее, чем хитрость и притворство, — вот почему иностранцы никогда не понимают ваших американских девушек. Там естественность презируют как неловкость, а искусство вызывает преклонение; словом, игра — всё. Самая аристократическая и увлекательная из игр: шахматы, где мужчины и женщины становятся королями, ферзями, пешками... Вот и всё объяснение моей мнимой загадки. Вы просто никогда прежде не встречали никого похожего на меня.

— Сейчас здесь немало женщин вашего круга.

— Да, и цели их известны, не правда ли? К тому же в них не соединились те качества, которые привлекают вас во мне.

— Это верно. Возможно, ваше объяснение и есть настоящее. Во всяком случае, в нём что-то есть. Что ж, я пойду. Я и так слишком долго не давал вам спать.

Он уже хотел поднести её руку к губам, но она неожиданно сердечно пожала его руку.

— Надо отвыкать. Это довольно нелепо в стране, где такого обычая нет. Но вы ещё придёте?

— О да, я ещё приду.

ХII

Мадам Заттиани накинула цепочку на входную дверь и очень медленно вернулась в библиотеку. Её широкий спокойный лоб, составлявший немалую часть её обаяния, нахмурился в недоумении. Вместо того чтобы погасить свет, она села и устремила взгляд на угасающий огонь. Вдруг она рассмеялась — с острым, ироническим весельем; но смех оборвался, и глаза расширились от смятения, почти паники.

Не за душевный покой мужчины, влюблённого в неё сильнее, чем он пока признавался самому себе, она тревожилась. Слишком многие мужчины любили её, и слишком равнодушно она относилась к их сердечным мукам и несбывшимся желаниям, чтобы беспокоиться о вреде, который могла причинить этому талантливому, честолюбивому молодому человеку, внезапно ворвавшемуся в её жизнь. Такая тревога могла прийти позже, но не сейчас, когда она сама была потрясена и испугана.

Она давно отбросила и надежду, и желание когда-нибудь снова испытать к самому приятательному мужчине что-либо, кроме живого умственного интереса. Никогда ещё не жила женщина, столь полно разочарованная, столь пресыщенная, с таким презрением относившаяся к извечной мечте о человеческом счастье, которая, если обнажить её до костей, оказывалась лишь слепым стремлением рода к продолжению. Цивилизация нагромодила свои вымыслы

над голым фактом первоначального замысла природы; воображение подхлестывало общее для всего живого половое влечение, заставляя требовать невозможного — совершенного единения разума, души и тела. Взаимность! Когда мужчина по природе многоженец, а женщина — орудие продолжения рода. Когда озлобленные боги обрекли каждую душу на вечное одиночество и ещё ни одной не удавалось дольше мгновения нервного восторга обманываться верой, будто она слилась с другой. Сама жизнь достаточно тщетна, но мечта о совершенной любви двух существ, испокон веков предназначенных друг другу, — самая тщетная и губительная из всех, что цивилизация навязала человечеству. Проклятие воображения. Только дикари и невежественные массы понимали «любовь» как то, чем она и была: преходящее отправление природной потребности, — и не ведали ни душевного смятения... ни мечтаний... ни безумной тоски...

Никто не отдавался этой иллюзии полнее, чем она. Никто с такой страстной решимостью не искал родственную душу, которая поглотила бы, возвысила и восполнила её собственную, вечно устремлённую ввысь. И что же она находила? Мужчин. Всего лишь мужчин. Пресыщение или катастрофу. Усталость и отвращение. Ни одной иллюзии не осталось. Всё это она давно оставила позади.

Пока она сидела, глядя на последние всполохи обугленного полена, ей казалось, что прошли бесчисленные годы с тех пор, как мужчина мог заставить её нервы дрогнуть, пробудить хотя бы призрак прежних неистовых желаний. Ни у одной женщины не было больше оснований считать себя неуязвимой. Она слишком презирала жизнь и обманчивые иллюзии, которыми человек окружил себя, разрушив равновесие между плотью и духом, чтобы даже бунтовать. И когда поняла, что её ум и состояние ещё позволят ей совершить в мире дело, способное примирить её с величайшей скукой существования, испытала глубокую благодарность за полную свободу от власти пола. Во время войны мужчина был всего лишь искалеченным существом, которое следовало исцелить или без лишних мучений проводить из жизни; и она знала, что лучшей сиделки в Европе нет. Она всегда гордилась тем, что ничего не делала вполсилы. А ещё раньше научилась относиться к мужчинам с некоторой безучастной терпимостью, если их ум находил отклик в её собственном. Какой бы чувственной притягательностью они ни обладали, с большим успехом её можно было бы расточать перед Венерой в Лувре.

И вот сегодня она поняла, что этот молодой человек, столь непохожий на всех, кого она знала в Европе, так или иначе занимал её мысли с того вечера, когда вышел за ней из театра и украдкой наблюдал, пока она ждала автомобиль. В последующие вечера она ощущала его настойчивый взгляд: он сидел, выжидая, не повернёт ли она голову, чтобы можно было увидеть хоть что-нибудь, кроме её затылка, или смотрел, когда она проходила к своему месту. Ещё острее она чувствовала его присутствие, когда он поднимался с кресла в тёмном зале и шёл за ней к выходу. Но тогда это лишь забавляло её; возможно, доставляло мгновенное удовольствие тщеславию, хотя к восхищению и поклонению она привыкла.

Однако в тот вечер, когда он поспешил к ней на пустынной улице и предложил помощь, стоя со шляпой в руке и глядя на неё с мальчишеской, робкой галантностью, забавно не вязавшейся с его суровым циничным лицом, — когда она поняла, что он, поддавшись порыву, последовал за ней, — в ней что-то шевельнулось. Она объяснила это мимолётным возвращением прежней любви к приключениям, жажды новизны любой ценой. Позабавленная и собой, и им, она, пока он пробирался в дом, вдруг решила пригласить его в библиотеку и воспользоваться нарушением того однообразного существования, на которое обрекла себя на время пребывания в Нью-Йорке.

Он оказался привлекательнее, чем она ожидала. Судья Трент, которого она искусно разговорила, сообщил, что, по словам Динвидди, на этого молодого человека возлагают большие надежды в литературном мире; его газетную деятельность, при всём её блеске, считают лишь ступенью на пути: он ещё «не нашёл себя». С тех пор она внимательно читала его колонку.

Но она не ожидала встретить столь сильную и близкую ей личность, такое странное сочетание наивности и жёсткой искущённости, и объяснила свой интерес любопытством к совершенно незнакомому человеческому типу. По собственной наивности ей никогда не приходило в голову, что и за пределами её круга могут быть джентльмены в том смысле, какой она вкладывала в это слово; и Клэверинга она по-прежнему считала исключением, обусловленным его происхождением и воспитанием. Вечером за обедом ей доставило несомненное удовольствие убедиться, что он ничуть не проигрывает рядом с мужчинами, бесспорно принадлежавшими к её миру. Снобизма в этом не было. Она всегда слишком прочно занимала своё высокое положение, чтобы быть снобом, была слишком надёжно ограждена от искателей светского успеха, чтобы испытывать потребность отстаивать свои рубежи, и от рождения избежала того всепоглощающего чувства превосходства, которое терзает души и знатных, и незнатных. Но впервые ей представилась возможность судить по каким-то иным меркам, кроме тех, с которыми она родилась и прожила всю жизнь. Клэверинг был джентльменом; для неё эта сторона вопроса на том и исчерпывалась.

Лишь сегодня она ощутила в себе какое-то юное нетерпение, расхаживая по холлу в ожидании его быстрых шагов на крыльце. Однажды она остановилась и посмеялась над собой, поняв, что ведёт себя как девушка, ожидающая возлюбленного, тогда как она — всего лишь холодно, уже даже без горечи разочарованная женщина, скучающая от вынужденного безделья в Нью-Йорке, рада маленькому приключению, которое отвлечёт её от мыслей о бедствиях, оставленных в Европе, и о будущем, которому она себя посвятила. Да ещё приключению за полночь! Она пожала плечами и снова рассмеялась, впуская его.

Но теперь, в одиночестве, в остывающей комнате, ей было не до смеха. Со злостью и ужасом она вспоминала, как дрожали, как будто натягивались все её нервы, пока она сидела с ним в ночной тишине. Какое тёплое удовольствие доставлял ей его интерес, доведивший его до явной бестактности; какой мучительный страх охватил её, когда она увидела, что он решается больше с ней не встречаться. Она ни на мгновение не выдала себя — слишком давно играла в эту игру мужчин и женщин, — и отпустила его без единого знака, уверенная, что он придёт по первому зову. Но теперь она знала — и руки её сжались, а лицо исказилось, когда она призналась себе в этом, — что, обними он её внезапно, она вспыхнула бы страстью и почувствовала себя воплощённой молодостью и любовью.

Невероятно. Немыслимо. Она!

Что делать? Бежать? Она приехала в Нью-Йорк с единственной целью: как можно скорее уладить денежные дела и вернуться в страну, где её ждала работа. Но задержалась дольше, чем предполагала: медленная реорганизация одной из компаний, в которую была вложена значительная часть её состояния, не могла завершиться без её последней подписи. Предстояли и другие важные операции; кроме того, судья Трент настоял, чтобы она досконально разобралась в своих делах и могла вести осмысленную переписку с управляющими её имуществом, когда он сам отойдёт от дел. Она обнаружила замечательные способности к финансам, и судья был неумолим, требуя ежедневно уделять ему час.

Дела. Она ненавидела это слово. Какое это имеет значение... Но она знала: имеет, и первостепенное. Пусть у неё есть красота, ум и власть над мужчинами, способные склонить их на её сторону, когда она бросится в политический водоворот, — она прекрасно понимала, что огромное состояние обеспечит половину победы. Оно давало ей и ореол, и средства борьбы, позволяло купить тех, кого не удастся убедить. Она поклялась, что Австрия будет спасена любой ценой.

Нет, сейчас она не может уехать. Ей придётся остаться ещё на месяц, возможно, на два. Она уже миновала ту пору необузданной юности, когда бегство от опасности кажется единственным выходом. Погубить чужие жизни ради собственного душевного покоя означало бы стать смешной и презренной в собственных глазах, а презирать себя ей ещё не доводилось. Она

«выстоит», «доведёт дело до конца», как выражались в этих занятных американских романах, которые она читала, и будет надеяться, что всё это — лишь краткое смятение чувств... не такое уж, возможно, удивительное...

Но мысли вернулись к минувшему месяцу. Чувства? А если дело не только в них? Если это лишь неизбежное сопровождение чего-то куда более странного... Если это то самое, чего она некогда так долго искала, с такими губительными последствиями... Столько лет она верила, что это существует — где-то, в каком-то мужчине... что каждая женщина имеет на это право... пусть даже оно не может длиться вечно... Но пока длится! В конце концов, воображение не бесполезно. Оно помогает не только создавать, но и продлевать... Она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза, отдаваясь невыразимой истоме.

Это длилось лишь мгновение. С возгласом нетерпения и отвращения она вскочила и задрожала всем телом. В комнате было ужасно холодно. В камине остался один пепел.

XIII

По дороге домой Клэверинга несколько раз бросало то в жар, то в холод. Он был чудовищно груб, непозволительно дерзок. Если она не велела ему убираться, то лишь потому, что жила настроениями, а он на этот час её позабавил. Несомненно, утром она проснётся в должном негодовании и отдаст слугам распоряжения... Или она искренне требовала его дружбы и готова была терпеть его отвратительные манеры, полагаясь на собственное остроумие, чтобы одолеть его и усыпить подозрения? Дружба! Лучше всего ему избегать её как чумы. Признаться в этом не хотелось, но он её боялся — не столько влюбиться и пережить трагедию, к чему всё, вероятно, и пришло бы, сколько той грозной силы, столь искусно скрытой в белом нежном теле, той властной личности, за которой стояло невообразимое прошлое. Она производила впечатление женщины, вступившей в схватку с жизнью и победившей её по всем статьям. Опасное создание! Если это так, то достижение необычайное. Но так ли? Женщины, как бы ни были они красивы, богаты, высокопоставленны и сильны духом, всё равно в чём-нибудь проигрывали. Влюбившись, они часто теряли голову, а вместе с ней и партию. Всё их искусство рассыпалось. На мгновение он представил её влюблённой, растаявшей, беспомощной — и поспешил перевести мысли на другое. Ему нравились сильные женщины: прежний идеал покорной обожательницы он давно оставил. Но не слишком сильные. Во всяком случае, не сильнее его самого. За последние двенадцать лет он встретил немало «сильных» женщин, чаще всего окутанных обезоруживающей женственностью. У мужчины против них не было никаких шансов: мужская сила, как правило, вся снаружи. Женщины выросли, а мужчины — нет. Вот она, проклятая правда.

В эту минуту он ненавидел всех женщин и испытывал не просто трусливое, а совсем мальчишеское желание сбежать. Хотелось бродить... бродить... лежать в лесу и мечтать, как в детстве... пока ещё не узнал о жизни слишком много... читать Шелли и грызть каштаны... Тут он вспомнил, что зимой в лесу полно снега, и рассмеялся. Что ж, он навестит Гору Дуайт. Сейчас она в Вашингтоне, но в пятницу вернётся. Вот кто придаёт бодрости. Сильная — сколько угодно, зато и не скрывает этого. Никаких нежных женских обольщений. Она тоже боролась с жизнью и в каком-то смысле победила, но шрамы остались на виду. Должно быть, ей пришлось чертовски тяжело. Во всяком случае, мужчина может часами беседовать с ней, оживляясь умом, и точно знать, на чём стоит. Никакой проклятой половой чепухи. Он почти не знал других женщин, которые рано или поздно не сводили бы разговор к отношениям полов. Психологический анализ освободил их от последних приличных запретов, какие у них ещё сохранялись. Он ненавидел эту тему. Когда-нибудь он даст себе волю в колонке и выскажет женщинам всё, что о них думает. Напомнит, что хотя бы в одном мужчины их превосходят: отводят полу надлежащее место и всегда способны держать в голове больше одной мысли. Гора Дуайт тоже спо-

собна. Пожалуй, он сделает её своей наперсницей — до известного предела. Во всяком случае, освежит душу у этого спокойного источника.

XIV

Гора Дуайт, следуя примеру других преуспевающих писателей, недавно купила дом. Он находился на Восточной Тридцать пятой улице, неподалёку от дома, где теперь жила мадам Заттиани, но ближе к Лексингтон-авеню. Один из старых однообразных домов из бурого камня, зато с окнами на юг; прежний владелец убрал наружную лестницу и перестроил нижний этаж.

Столовая слева от входа была длинной комнатой превосходных пропорций, а просторное помещение над ней, занимавшее весь этаж, мисс Дуайт превратила в роскошную и величественную библиотеку. Мебель она покупала на аукционах, чтобы та не выглядела слишком новой; вдоль длинных стен стояли книжные шкафы семи футов высотой. Небольшую библиотеку она собрала ещё до войны, а за множеством других книг — некоторые были редкими, и все нынешняя владелица высоко ценила — охотилась по букинистическим лавкам.

В комнате преобладали коричневые и золотистые тона, сдержанно оживлённые красным; кресла и диваны были глубокими и удобными. Перед камином, переделанным для топки дровами, стоял большой диван. В одном углу помещался граммофон «Виктрола»: мисс Дуайт не возражала, если гостей охватывало желание потанцевать под джаз. У окон в дальнем конце комнаты стоял рояль. Единственным свидетельством чистой женственности был чайный столик со старинным серебром, которое она приобрела во Франции. Столовая внизу выглядела несколько веселее: стены и шторы были густого жёлтого цвета, а на столе всегда стояли цветы.

Нью-Йорк так много знал об этой новой литературной планете, что считал: узнавать больше нечего. Выходцы из Сан-Франциско всегда найдутся в большом городе, и, когда она прославилась, они охотно снабдили всех биографическими сведениями. Поначалу жизнь обошлась с ней сурово: хотя род её восходил ко временам Войны за независимость, она выросла в бедности и безвестности. Отец был неудачником; после смерти родителей она держала пансион для работающих женщин и одновременно посещала занятия в Калифорнийском университете. Позже выучилась на медицинскую сестру и заслужила признание врачей и хирургов. Её брат, красивый молодой человек с прекрасными манерами, но своего рода сверхболван, неожиданно женился на девушке из старой аристократии Сан-Франциско, и благодаря невестке, прелестной Алексине Грум¹, Гора познакомилась с более приятной стороной жизни. В этот период она написала несколько рассказов, опубликованных в лучших журналах, и один незаурядный роман, имевший «оглушительный успех» в Сан-Франциско благодаря беспримерным стараниям светского общества во главе с молодой миссис Мортимер Дуайт; однако на Востоке он, несмотря на рецензии, успеха не получил. Затем наступил долгий перерыв: в мире страшных фактов сочинители вымыслов мало что значили. О ней совсем забыли, поскольку она даже изредка не появлялась на страницах журналов. Вскоре после начала войны она предложила свои услуги Англии и долгие, изнурительные годы была одной из самых ценных сестёр в британских войсках. По окончании войны вернулась в Калифорнию, намереваясь написать новый роман на озере Тахо, но, застав курортный сезон в разгаре, уехала в какой-то городок в глубине штата и написала его там. Закончив, привезла рукопись в Нью-Йорк и с тех пор осталась здесь.

На этом краткая биография, обраставшая подробностями во множестве статей и интервью, заканчивалась.

Что до романа, он сразу принёс ей славу и небольшое состояние. Он был мрачен, пессимистичен, язвителен, беспощаден, бесцветен, грязен и до ужаса реалистичен. Его персонажи происходили с того плебейского конца огорода, где растут репа и капуста. Они обладали всеми низкими пороками и слабостями, какие успело породить отвратительное человечество. Все были неудачниками, и их жалкие стремления подвергались едкой иронии. Тщетный, тщетный мир!

Действие происходило в маленьком калифорнийском городке — средоточии всех глупостей цивилизации вообще и Соединённых Штатов Америки в частности. Знаменитая «атмосфера» штата оставалась без внимания. Городок и типы были «американскими»; казалось, лишь какое-то слабое, не признаваемое самой писательницей чувство заставило её поместить действие в родном штате, но на этом уступки кончались. Даже к климату она относилась с презрением, которого заслуживали все старые клише. Её биографы могли бы, впрочем, сообщить, что летом климат городка в глубине Калифорнии поистине адский.

Естественно, книга произвела фурор. За несколько лет до того она умерла бы при рождении, даже найдись издатель, достаточно безумный, чтобы предложить её самодовольному, благополучному миру. Но ежедневные перечни ужасов и мерзостей войны, следовавшие за ней жестокие потрясения с угрозами паники и революции, затронувшие нервы и кошельки всей страны, раздражённое неприятие самой войны разнесли вдребезги романтику, оптимизм, высокие стремления, идеализм, здравый и уравновешенный взгляд на жизнь. Ещё набор клише. Мир прогнил до сердцевины, человечество было так грязно, что удивительно, как писатель решается касаться его даже щипцами. Но писатели погружались по шею. Публика, чьи влечения, запреты и комплексы бродили, не находя выражения, обретала выход в этих романах и рассказах и упивалась ими. Чем оскорбительнее, беспощаднее и одностороннее обнажались её неисправимые пороки и низости, тем сладострастнее было удовольствие. После Гражданской войны тоже случались реакции, но более высокого порядка. Население ещё не было осквернено низшими расами.

Молодые редакторы, критики, обозреватели были в восторге. Вот она, Жизнь! Наконец-то! Более того — Демократия. Эти молодые способные люди, отрёкшиеся от прежнего социализма, поскольку чувство юмора подсказало им его несовместимость с большими окладами и приятной жизнью, теперь пылали любовью к Демократии. Ничто в этом бурлящем мире не приносило таких выгод, как Демократия. Демократическая волна вздымалась и ревела. Знаменательно было это бурное извержение провинциальной прозы, реалистичной, как кухня, пессимистичной, как Уолл-стрит. Всякая добродетель, всякая надежда, всякий идеализм покинули мир. Романтики же никогда и не существовало, и давно пора силой избавить глупый мир от его извечного заблуждения. Жизнь была и всегда оставалась грязной, заурядной, низкой, пошлой, неисцелимой; утончённость — трусливый внешний лоск, недостойный искателя Истины, а значение имела одна Истина. Любовь — смехотворна. Счастье — истерия, довольство — заблуждение слабоумных; последнее слово теперь отчаянно соперничало с «подлинным». Что же до таких слов-преступников, как «верность» и «патриотизм», — от них тошнило.

Успех был колоссальным.

Гора Дуайт оказалась на гребне волны, и её «Глупцы» разошлись в трёхстах тысячах экземпляров. Она немедленно заключила с одним из «женских журналов» договор на публикацию следующего романа с продолжением за тридцать тысяч долларов и получила соответствующий аванс от издателя. Её рассказы продавались по две тысячи долларов за штуку, а первый роман извлекли из могилы, и он тоже разошёлся большим тиражом.

Трудно быть пессимистом, имея в сейфе облигаций и вкладных на сто тысяч долларов и купчую на дом, но Гора Дуайт была художником и всегда могла положиться на мастерство. И хотя её книга стала интеллектуальным выражением чудовищно искажённых комплексов, вызванных разочарованиями войны, унижением её самолюбия в самом гибельном для женщины приключении и последующим подавлением всех самых дорогих стремлений, она заслуживала успеха гораздо больше любого из своих юнцов-соперников. Её стиль сложился в пору полного душевного равновесия; он был не только благородным, сильным и самобытным — самый крайний реализм она умела передать столь тонко и вместе с тем недвусмысленно, что могла позволить себе презирать отхожую лексику «молодой школы». Замечательное достижение. Большинство из них пользовались откровенным словарём бедного дома, считая лишь его

равнозначным Истине. Никогда прежде такие слова не вторгались на священные страницы американской словесности. Им было невдомёк, как указывал мистер Ли Клэверинг, считавший всю эту школу непристойной шуткой, что они просто выбирают кратчайший путь: пользуясь послевоенной распушенностью, охватившей все классы, избавляют себя от изнурительного труда — обогащать словарь и вырабатывать стиль.

Лопата перестала служить символом: вещи называли своими именами без всяких обстоятельств.

У мисс Дуайт были собственные идеалы, как бы мало она ни позволяла иметь их своим несчастным героям. Она не только в совершенстве владела словом и искусством намёка, но и была воспитана щепетильными родителями, полагавшими, что некоторым словам не место в приличном обществе. Впечатлений, усвоенных в восприимчивые годы, не могло стереть никакое модное поветрие.

Никто, даже её земляки-калифорнийцы, не знал, что она пережила несчастную любовь, завершившуюся попыткой убить прекрасную невестку. Её книга была неистовым отречением от всех мерил юности, и любовь, самая мысль о взаимном счастье других людей стали ей столь же ненавистны, как ещё недавно кровь, грязь, война и немцы.

Успех — великий целитель. К тому же она была женщиной сильного, неукротимого характера и очень гордой. Мужчину, который, в конце концов, и был виновником её феноменального успеха, она предала глубочайшему забвению. Нельзя продать триста тысяч экземпляров книги, получать сотни писем от незнакомых поклонников, уверяющих, что ты величайший из живущих романистов, постоянно видеть своё имя в «новостях», выдерживать осаду редакторов и издателей, стать любимицей Искушённых — и по-прежнему носить в груди истерзанное сердце. Прошлое меркнет. Настоящее царит. Будущее розовеет, как заря. В эту пору своей карьеры Гора Дуайт была слишком высокомерна, чтобы любить какого-либо мужчину, даже если бы от её сердца осталось что-нибудь, кроме насоса. Жизнь её была полна до краёв. Она прекрасно понимала, что нынешнее увлечение голым и мрачным реализмом пройдёт: об этом свидетельствовал более умеренный, но несомненный успех нескольких романов, написанных авторами, невосприимчивыми к поветриям. Но её творческая плодовитость избавляла от тревог на этот счёт. Множество самых разных замыслов бродило, словно светящиеся призраки, по коридорам её ума, на редкость свободного от лабиринтов, готовое обрести плоть, как только мир окажется готов их принять.

В прошлый раз, когда Клэверинг сидел у горящего камина напротив женщины, оба наслаждались роскошью глубоких мягких кресел, а хозяйка словно таяла в своём, пока оно не заключило её в объятия. Но мисс Дуайт никогда не разваливалась. Позвоночник у неё, казалось, был чугунный. Сегодня она сидела прямо на низком пуфе, а он полулежал в кресле, точно подогнанном к изгибу его спины, и с удовольствием сравнивал её с той, другой. Гора Дуайт не была красива, но никогда не оставалась незамеченной в толпе, даже если её не узнавали. Продолговатые глаза были светлыми, ясными, серыми, холодными, почти зловещими; густые каштановые волосы она укладывала высоко на голове, спуская их до тяжёлых бровей. Рот был прямым, резко очерченным, но подвижным, способным смягчаться прелестной улыбкой; зубы — прекрасными. Нос короткий и выразительный, челюсть выдающаяся. В целом это был тип негармоничный: продолговатая голова и короткое лицо, широкое в высоких скулах. Большие светлые глаза на небольшом смуглом лице смущали чувствительных людей, но чаще завораживали. Клэверингу рассказывали, что в калифорнийские годы у неё была великолепная грудь, однако долгие годы непрерывного труда во Франции и Англии истощили её, и прежняя полнота не вернулась. Она была очень худа, и крепкие, неумолимо выступавшие кости подчёркивали угловатость сложения. Но ступни и смуглые кисти были длинными и узкими, а прямые линии нынешней моды очень ей шли. Сегодня она надела тёмно-красное бархатное платье, отделан-

ное коричневым мехом, с небольшим золотым украшением у талии. Все знали, что одевается она в «лучших домах».

Странное сочетание, размышлял Клэверинг. И не последним из её противоречий была способность этого довольно угрюмого лица внезапно озаряться: точно за необычными глазами вспыхивал внутренний огонь и свет его проникал в самые мышцы щёк, под кожу. Страннее всего было явное удовольствие, которое она получала, видя удобно устроившегося мужчину, сама при этом оставаясь прямой, как шомпол. А когда она была в настроении, ни с кем на свете не беседовалось так легко. Временами она бывала мрачна, но любимцам редко приходилось страдать от её настроений, и среди всех любимцев Клэверинг безраздельно занимал первое место. Он знал это и пользовался своим преимуществом, как свойственно его полу. Рассказывал ей обо всех невзгодах, о честолюбивых замыслах, которые считал бесплодными: он писал пьесы, сам же выносил им беспощадный приговор, и ни одна душа, кроме него и Горы Дуайт, их не видела. Она освежала и оживляла его ум, когда нужно было писать ежедневную колонку, а мысли застаивались. Ей были известны и его тайные поиски единственной женщины; он поверял ей несколько мимолётных надежд. И ни на мгновение она не считала его ни мрачным, ни разочарованным. Только не она! Для женщины, за которой мужчины не ухаживали, Гора Дуайт знала их поразительно хорошо. Но если у неё не было ни красоты, ни обольстительности, зато был гений; да и духовник едва ли знает о женщинах больше, чем медицинская сестра о мужчинах. Кроме того, у неё имелись свои приёмы, как бы мало мужчины об этом ни подозревали. Давно когда-то она прочла у Сент-Бёва отзыв о мадам Рекамье: «Она слушает обольстительно». Гора не собиралась прибегать к обольщению ни в каком виде, но слушала и никогда не предавала; наградой ей стала откровенность здоровых, невредимых мужчин со всеми врождёнными и приобретёнными особенностями их пола. В целом для писательского ремесла она была прекрасно вооружена.

¹ См. роман того же автора «Невестки».

XV

Вот и теперь она слушала, пока Клэверинг рассказывал о своём необычном знакомстве с мадам Заттиани, об их последующих беседах и о своих сомнениях.

— Ты уверен, что она не нарочно играет роль? — спросила Гора. — Немного развлекается после этих ужасных лет? По виду она вполне на это способна, а собственная драма может быть весьма привлекательна после такой жизни, когда сиделка чувствовала себя личностью не больше, чем отнятая конечность. И пока ещё молода и красива — какое удовольствие!

— Нет. Ни во что подобное я не верю. Думаю, не будь она так увлечена театром, приехала бы, уехала, и никто из нас ничего бы не узнал. Какова бы ни была её тайна, она особого рода. Я напрасно ломал голову. Не верю, что она дочь графини Заттиани, или четвероюродная сестра, или графиня Йозеф Заттиани. Я перебрал в памяти все детективные истории, какие читал, надеясь найти хоть что-нибудь подходящее, но по-прежнему ничего не понимаю.

— И ни о чём другом ты не думал. Твоя колонка стала хуже.

— Ты так считаешь? — Он выпрямился. — Я и сам был не слишком доволен.

— Ты стал заполнять её письмами читателей, как делают более изнурённые фельетонисты. Даже твои замечания к ним стали пресными. А описание вчерашнего боксёрского матча было примерно так же увлекательно, как отчёт о выставке цветов.

Он рассмеялся и снова откинулся в кресле.

— Ты освежаешь, как холодный душ, Гора. Но в конце концов даже бедному фельетонисту позволительно иногда сдавать. Впрочем, впредь, садясь за машинку, я буду выбрасывать её из головы. Бог свидетель, пишущая машинка — не вагнеровский оркестр; она должна с гарантией изгонять всякую сентиментальность... Хотя сентиментальность — не то слово. Просто бешеное любопытство.

— О нет, совсем не просто, — невозмутимо сказала мисс Дуайт, закуривая новую сигарету и аккуратно вставляя её в маленькие золотые щипчики: на её длинных аристократических пальцах никто никогда не видел ни чернил, ни никотиновых пятен. — Ты в неё влюблён, дитя моё.

— Ничуть!

— Ещё как. Прежними короткими восторгами ты меня ни на минуту не обманул: классическая Энн, демоническая Мэриан... Но теперь ты попался основательно. Тайна, возможно, сыграла свою роль, но сама женщина — куда большую. Она самое прекрасное создание, какое я когда-либо видела, и, несмотря на это величественное спокойствие, выглядит умной и проникательной. А какая настоящая дама!

Гора вздохнула. Как когда-то ей хотелось стать такой дамой! Теперь ей до этого не было никакого дела, и она не променяла бы своего нынешнего положения на положение принцессы даже в устойчивом мире. Но старые мечты умирают с трудом. Из всех щедрых даров судьбы, которыми была наделена мадам Заттиани, ни один не вызывал у неё большего восхищения.

— Смелее, Клэви, добивайся её — и не теряй слишком много времени. Рано или поздно её втянет здесь в свой круг. Она признаётся, что вдова, так что в запутанную любовную интригу тебе ввязываться не придётся.

— Ты забываешь, что она ещё и очень богата. Я выглядел бы охотником за состоянием...

— Как старомодно! И сам ты ничего подобного не чувствовал бы. Сейчас тебя мучает только одно: ты пытаешься скрыть от самого себя, что влюблён.

— Кто знает! Никакого неистового желания я к ней не испытываю, в этом могу поклясться.

— Ты просто ещё не дошёл до этого. Тайна завладела твоим умом, а сомнения исполняют роль цензора. Но стоит тебе дать себе волю...

— А если она мне откажет? Что, несомненно, и случится. Я не ищу трагедии.

— Мне кажется, не откажет. Пока ты рассказывал, я уже сочинила в уме всю историю. Впрочем, начала я её ещё в прошлый понедельник, когда увидела, как вы шепчетесь. Я сидела в ложе прямо над вами — если ты заметил! И наблюдала за её лицом. Там было нечто большее, чем вежливый интерес.

— Точно так же она выглядела, когда разговаривала с Дином и Осборном за обедом. Просто светская женщина, в которую были влюблены десятки мужчин; она ещё достаточно молода, чтобы интересоваться молодым человеком, если он её не утомляет. Не говоря уже о том, что надо сохранять навык... Но есть и другое.

Он беспокойно шевельнулся.

— Кажется, она вся состоит из силы, воли, власти. Она их излучает, источает. Я боюсь, что стану её бояться. Мне хочется быть сильнее своей жены.

— Не льсти себе. Женщины всегда сильнее мужей, если только они не круглые дуры или не помешаны на мужчинах. Ни те ни другие тебя бы не привлекли. Обыкновенная женщина — любая из миллионов — обладает такой нравственной силой, твёрдостью характера и житейской проникательностью, пусть и без всякой склонности к умственным занятиям, что неизменно берёт верх над мужчиной. У этой женщины есть всё это и больше — в тысячу раз больше. Было бы прекрасно, если бы она взяла тебя в руки. Она сделала бы из тебя человека: ты узнал бы о мужчинах, женщинах, жизни — и о себе — то, о чём прежде даже не догадывался. И тогда написал бы пьесу, от которой весь город заговорит. Только этого тебе и недостаёт. Даже если бы она плохо с тобой обошлась, результат был бы тот же. Жизнь слишком тебя баловала, Клэви, а твои маленькие разочарования были до того чисто романтическими, что лишь лёгкие твои чувства резвились, словно добродушные щенки, на корке, прикрывающей страсти. Пора лаве закипеть и сорвать крышку. Тогда творческая почва сама собой вспашется и получит удобрение. Твои пьесы перестанут быть одними лишь образцами архитектуры. Я не благо-

душная альтруистка. Не горю желанием видеть тебя счастливым. Скорее я склонна ненавидеть эту женщину, которая в конце концов сведёт тебя с ума: ведь тогда я, конечно, больше тебя не увижу. Но я художник и верю, что только ради искусства и стоит жить. Я хочу, чтобы ты создал великое произведение, чтобы стал в Нью-Йорке по-настоящему значительной фигурой, а не просто заметной.

— Ты и спесь с меня сбила, и дух подняла... Но я хочу, чтобы ты с ней познакомилась, и не знаю, как это устроить. Мне кажется, твоя интуиция могла бы подобраться к истине.

— Что, если я устрою вечер, а ты за день-другой как бы между прочим спросишь, не хочет ли она прийти? Или предложишь так, как сочтёшь лучше. Теперь никто не наносит визитов, но, думаю, она нанесёт. Люди её круга редко отказываются от формальностей. А там, если я действительно умна, сумею внушить ей желание увидеть меня снова, и она примет меня, когда я приду с ответным визитом. Как думаешь, справишься?

— Возможно. Я уже пробудил в ней любопытство к нашей компании и подброшу ещё несколько приманок. Да, думаю, она придёт. Когда ты устроишь вечер?

— Через неделю в субботу.

— Отлично. Ты славный человек, Гора. И не воображай, будто когда-нибудь от меня избавишься. Если она единственная в своём роде, то и ты тоже. Этот очаг всегда будет меня притягивать.

Миссис Дуайт лишь улыбнулась.

XVI

Клэверинг быстрым шагом направился к клубу мистера Динвидди. Он не спешил оставаться наедине с собой, хотя уже час назад должен был сидеть за письменным столом. Но Динвидди пора было раздобыть для него какие-нибудь новости.

В клубе нужного ему человека не оказалось, и он пошёл к Динвидди на Сорок восьмую улицу. Друга он застал в халате и домашних туфлях, с забинтованной ногой на скамеечке.

— Подагра? — спросил он с бессердечием молодости. — А я всё удивлялся, почему от вас ничего не слышно.

— Я пытался дозвониться тебе не меньше четырёх раз.

— Когда работаю, я велю внизу не соединять меня ни с кем. И я много гулял.

— Ну, садись, закури. Нервничаю, когда кто-нибудь стоит над душой. Ты и сам какой-то нервный. Переработал?

— Да. Думаю съездить во Флориду.

— Может быть, отправлюсь с тобой. Но мне есть что тебе рассказать. Потому я и звонил...

— Ну?

— Не бросайся на меня. Несварение желудка?

— Нет у меня никакого несварения. Попробовали бы вы выдавать по колонке в день — тоже понервничали бы.

— Так возьми отпуск...

— Что вы выяснили?

— Целую неделю не мог добраться до Гарри Торнхилла, но в конце концов он согласился меня принять. Последние двадцать лет живёт, похоронив себя среди книг. Жена и двое детей погибли при столкновении поездов...

— Да какое мне, чёрт возьми, дело до Гарри Торнхилла!

— Эгоистичный ты молодой негодяй. Впрочем, в твоём возрасте мне было бы так же мало до него дела. Итак, его кузен, Мейнард Торнхилл, действительно переехал в Виргинию лет тридцать пять назад, женился, обзавёлся семьёй, затем перебрался в Париж и прожил там до самой смерти. Жена тоже умерла там. Больше он ничего сообщить не мог. Отношения у

них были не особенно сердечные, и, бывая за границей, он семью не навещал. Мадам Заттиани когда-нибудь говорила о братьях или сёстрах?

— Ни слова.

— Вероятно, вступили в брак и осели где-нибудь в Европе. Или погибли. Можешь спросить её.

— Больше я ей вопросов задавать не стану.

— Осадила тебя?

— Напротив, была необыкновенно любезна. В последний мой визит я совсем извёлся и задал столько наводящих вопросов, что она имела полное право выставить меня за дверь.

— Ах ты нахальный мальчишка. Впрочем, с моих времён нравы изменились. Что она тебе сказала?

— Ничего. Я по-прежнему ничего не понимаю. А что вы узнали о Йозефе Заттиани?

— Кое-что, но недостаточно. На днях за обедом я встретил австрийку, графиню Лойос, и спросил её о Заттиани. Она сказала, что род большой, с множеством ветвей, и ей смутно помнится, будто какой-то Йозеф Заттиани погиб на войне. Был ли он женат, она не знает...

Клэверинг внезапно встал и посмотрел сверху на Динвидди, чья улыбка выражала скорее досаду, чем торжество.

— Ну? — резко спросил он. — Ну?

— Вижу, ты уловил. Довольно странно, не правда ли, что австрийская дама, всю жизнь проведшая в венском свете, по-видимому, ничего не знает ни о какой молодой и прекрасной графине Заттиани? Я ни словом не намекнул ей на правду: уж я-то не стану спускать ищеек на эту очаровательную молодую женщину, кем бы она ни была. Сказал, что припоминаю, как до войны встретил в Европе совсем юную красивую графиню с такой фамилией, и мне интересно, что с ней стало... Но кто-нибудь другой может спустить их в любую минуту. Ею уже немало народа заинтересовалось.

— Что ж, ничего они ей не сделают. Она вправе называться как угодно и ни у кого ничего не просит. Но я хотел бы загипнотизировать судью Трента и вытянуть из него правду. Он знает, чёрт бы его побрал!

— Если он выдаёт самозванку за другую женщину и позволяет ей завладеть деньгами Мэри, то готовит себе большие неприятности. Не понимаю Трента. В делах с женщинами он дурак, но человек безупречной честности и один из самых проникательных юристов штата. Немыслимо, чтобы она его провела.

— Он знает, и у него есть какие-то основания так поступать. У мадам Заттиани непременно должна быть доверенность вашей подруги. Это несомненно. И нет никаких сомнений, что графиня Заттиани — Мэри Огден — безнадежно больна и находится в каком-то венском санатории. Она проговорила.

— Бедная Мэри! Это правда?

— Боюсь, что да... Возможно... Может быть, вот в чём дело...

— О чём ты?

— Когда она подсмеивалась над моим любопытством, то предположила, будто могла быть актрисой и войти в доверие к графине Заттиани благодаря сходству. Мне это показалось фантастическим, но кто знает?... И всё-таки зачем ей пользоваться фамилией Заттиани, даже если ваша подруга и дала ей доверенность?... Разве что... — Он вспомнил догадку Горы. — Разве что ей захотелось поразвлечься.

— Поразвлечься? Она не пыталась ни с кем знакомиться. Не вижу в твоей мысли никакого смысла. Нелепость. И эта женщина не актриса. Она дама высшего света по рождению и воспитанию.

— Я встречал актрис с превосходными манерами, которых к тому же принимали в обществе.

— Что ж, по-моему, всё это не то. А эта девушка — настоящая.

— Тогда почему, ради всего святого, ваша графиня Лойос ничего о ней не знает? Если мадам Заттиани та, за кого себя выдаёт, они должны были сто раз встречаться в венском свете. Больше того, она была бы одной из самых заметных фигур при дворе.

— Единственное объяснение, какое приходит мне в голову: мадам Заттиани действительно такова, какой себя представляет, но по какой-то причине пользуется чужим именем.

— А! Это уже объяснение. Но почему? Почему?

— Тут я бессилён... Разве что... А!

В его глазах появился знакомый блеск, и Клэверинг замер в ожидании. У этого старого пройдохи было изумительное чутьё.

— Есть! По какой-то причине ей пришлось уехать из Европы. Может быть, скрывается от мужчины, может быть — от властей. Заттиани — одна из фамилий её мужа или фамилия матери. Конечно, Мэри заинтересовалась ею — при таком сходстве! — и помогла выпутаться. Она знала её достаточно хорошо, чтобы доверять, а кто-то должен был представлять здесь её интересы. Трент, разумеется, знает правду и, естественно, хранит тайну.

— Ещё один сюжет для кино... И всё же вполне правдоподобное объяснение... да... пожалуй. Но от кого она скрывается?

— Возможно, от мужа.

— От... от мужа?..

— Очень может быть. Не убивай меня. Думаю, тебе лучше уехать во Флориду и там остаться. А ещё лучше — женись на Энн Гудрич и возьми её с собой...

Клэверинг стремительно вылетел из комнаты.

XVII

Он стремительно шёл по Мэдисон-авеню, едва избегая беды на перекрёстках, запруженных в этот час до невероятия: он был не только взволнован до крайности, но и спешил. Колонка оставалась незаконченной, а завтра следовало сдать в один из литературных журналов статью о «подлинной драме». При обычном ходе вещей она была бы написана неделю назад.

Он злился на себя. При всей своей страстности, порывистости и нередкой неразумности он обладал удивительно уравновешенным умом и никогда прежде не становился жертвой наваждения. Войну он воспринял как обычный эпизод в истории мира, занятого преимущественно войнами, а не как сугубо личное испытание, придуманное злобой судьбой, чтобы лишить молодёжь иллюзий, ожесточить её, отнять идеалы, наполнить холодным едким презрением к милитаризму и правительствам, обратить в пацифизм и толкнуть на растерянные, но крикливые поиски Истины. Ему казалось невероятным, чтобы человек, читавший историю, мог впасть в такую незрелость; объяснял он её уязвлённым, но неугомонным самолюбием. В конце концов, это была война немолодых мужчин. Ни один из миллионов молодых бойцов, несмотря на повышения, благодарности и медали, не приобрёл славы военачальника. В историю войдут лишь государственные деятели и военные, чья молодость давно миновала.

Американская молодёжь воплощала необузданный индивидуализм, помноженный на национальное самомнение, причём у большинства теперь не было за спиной никаких семейных традиций: бог знает откуда они взялись. Их самолюбию дали пощёчину, их личность втиснули в общую форму; теперь они подсознательно пытались восстановить её прежние размеры, воображая себя старше собственных отцов и осыпая страшным презрением древние, презренные магниты — «верность» и «патриотизм». Писатели, благополучно отсидевшиеся дома, подхватили этот тон и сделали умеренными пацифистами. Это звучало умно и, несомненно, было модно.

Клэверинг, чьи предки участвовали во всех войнах американской истории, записался добровольцем в 1917 году без сентиментальности, воодушевления или негодования. Напрасно

было изливать гнев и презрение на государственных мужей, неспособных разрешить свои распри силой разума: слишком мало веков отделяло настоящее от полного варварства, чтобы человечество успело пройти дальше первых ступеней подлинной цивилизации. Несомненно, через тысячу лет эти ступени покажутся столь же первобытными, каким двадцатому веку казался век неандертальцев. Создавая прогресс, человек редко его опережал. Пока что для себя самого он сделал меньше, чем для того, что слыло прогрессом и высокой цивилизацией. Естественно, когда чудовище Франкенштейна поднималось во весь рост и пускалось в неистовый бег в семи-мильных сапогах, пигмеям оставалось лишь в истерике вернуться к неандертальским приёмам и пустить тот скудный запас ума, каким наделили их прошедшие века, на изобретение способов победить. Через тысячу лет чудовище, возможно, будет похоронено, а человеческий разум станет исполинским. Тогда, и только тогда, цивилизация достигнет совершенства, а дикость и глупость войны останутся пятном в истории человечества, о котором никто не захочет вспоминать. Но до этого далеко. Когда родина в опасности, остаётся одно — сражаться. Благородство обязывает. И сражаться без ворчания и нытья. Армейская дисциплина, сидение в грязных окопах, ранения, госпитали и убийство себе подобных нравились Клэверингу не больше, чем любому порядочному человеку. Но чего ожидали эти угрюмые ворчуны? Воевать по настроению, спать на перинах и стрелять по мишеням? Разочарование! Патриотизм, убитый Истиной! Можно подумать, они участвовали в первой войне за всю историю.

Всерьёз они принимали не войну, а самих себя.

Как и другие мужчины его круга и традиций, Клэверинг вышел из войны с надеждой, что на его веку она станет последней, но с неуязвлённым самолюбием и неискажённым взглядом на жизнь, быстро изгнав «ужасные воспоминания». Главным сохранившимся воспоминанием была ужасная скука. Ещё одна война отошла в историю. То, что он принял в ней ничтожное участие, вместо того чтобы прочитать о ней у искусного историка, объяснялось лишь случайностью времени его рождения. Насколько он мог судить, он остался в точности тем же человеком, каким был до отправки во Францию, и испытывал лишь безоговорочное презрение к этим «последствиям войны» у мужчин с целыми руками и ногами и без нарушений работы желёз внутренней секреции.

Что до женщин, когда они принимались рассуждать о своём интеллектуальном пацифизме, он говорил им, что новая доктрина непротивления плохо с ними вяжется, но, поскольку даже самые передовые из них всё ещё женщины, ожидать последовательности не приходится — да и незачем. А их пацифизм, если он не просто поза, не рабское следование минутной моде, объясняется смутным страхом, что мир останется без мужчин, либо подавленным религиозным чувством, либо желанием оправдаться за то, что они женщины и не могут сражаться. Он был чрезвычайно груб.

И вот теперь эта проклятая женщина совершенно выбила его из равновесия. Ни о чём другом он не мог думать. Работал отвратительно — во всяком случае, последнюю неделю, — и, хотя месяц назад ничто не доставило бы ему более тонкого удовольствия, чем статья о подлинной драме, теперь ему было бы совершенно безразлично, закрой цензура все театры на Бродвее. Таким ослом, таким проклятым ослом он стал за один короткий месяц. Он бродил по полночам и добрую часть каждого дня, пытаясь заинтересоваться чем-нибудь по дороге и прояснить голову. С тем же успехом мог бы сидеть у камина и читать пустячный роман.

И всё же, пока Гора Дуайт не применила к его случаю свой беспристрастный аналитический ум, он не признавался себе, что влюблён в эту женщину. Ему угодно было верить, будто она, единственная в своём роде, вся сотканная из тайны, заворожала его любопытство и пробуждала всё скрытое рыцарство его натуры — то, к чему современная женщина взывала крайне редко. Он чувствовал себя романтическим рыцарем, готовым сломать копьё — дюжину, если понадобится, — если свет восстанет против неё и объявит самозванкой. Правда, она, по-видимому, прекрасно умела постоять за себя, но была так красива, так светловолоса, так безза-

щитна и переживала ту задумчивую вторую молодость, которой он больше всего восхищался. Он видел в себе благородного сына благородных южан, взволнованного и не слишком счастливого, но даже в разгар беспокойства, когда мысли о ней поглощали его целиком, оставался уверен: она лишь романтический и преходящий эпизод его жизни.

Когда Гора Дуайт безжалостно ввела его в те тайные покои души, которые он бессознательно охранял, и велела смотреть и размышлять, он похолодел, словно по жилам потекла ледяная вода, хотя продолжал снисходительно улыбаться и отвечал почти шутливо. Наконец-то его свалило. Он подхватил проклятую болезнь в самой тяжёлой форме. Ни малейших сомнений. Неудивительно, что он себя обманывал. Женщина его мечты — чьей любви он предпочёл бы добиваться в уединённом уголке, украшенном природой, а не обезображенным человеком, — была вовсе не женщиной, а девушкой; двадцать шесть — идеальный возраст; девушкой, которая читала, училась, размышляла и повидала столько света, сколько девушке позволяли приличия. Он не мечтал о женщине после другого мужчины, тем более о такой, у которой, вероятно, был не один любовник и которая, несомненно, не сочла бы нужным это отрицать. Он ненавидел её так же сильно, как любил, и чувствовал, что скорее убил бы, чем обладал ею.

Вернувшись к себе, он ещё полчаса мерил комнату шагами; затем, в последний раз выругавшись, бросился в кресло перед письменным столом. По крайней мере, теперь, когда он взглянул правде в лицо, в голове прояснилось. Разбираться со своей бедой он будет потом, когда заслужит досуг. Если он не сумеет хотя бы на одну ночь отрешиться от неё и отдать уму должное, то начнёт презирать себя, а этого, поклялся он, не будет никогда. Он писал без перерыва до двух часов ночи.

XVIII

Он проснулся в полдень. Первым ощущением было, будто на мозгу у него сидит огромная чёрная летучая мышь. В затемнённой комнате словно зримо присутствовало несчастье. Он вскочил с постели и принял горячий, затем холодный душ; наваждения рассеялись, хотя петь ему вовсе не хотелось. Он позвонил вниз, заказал завтрак и открыл дверь в коридор. На газетах лежала стопка писем. Верхнее, в большом конверте, надписанном плавным, безукоризненно изящным почерком, было от мадам Заттиани — он понял это сразу, без всяких догадок.

Он раздвинул шторы, устроился в кресле, неторопливо прочёл остальные письма и просмотрел газетные заголовки, прежде чем осторожно вскрыть конверт, который словно давил ему на глаза. Пришла пора последовательно приучать себя к самообладанию. К тому же он боялся этого письма. Что... зачем она ему написала? Почему не позвонила? Не запоздала ли это отставка? Он задышался, руки дрожали, когда он развернул листок.

Письмо оказалось вполне обыкновенным.

«Дорогой мистер Клэверинг!

Я провела несколько дней в Атлантик-Сити, лечась от простуды. Надеюсь, Вы не заходили ко мне. Не пообедаете ли со мной завтра вечером, в половине девятого? Больше я никого не приглашу.

Искренне Ваша,

Мари Заттиани».

Значит, её зовут Мари. Раз или два ему казалось забавным, что он не знает имени женщины, которая занимает каждую его мысль наяву. А она была за городом и даже не подозревала, что он намеренно её избегал. Считала само собой разумеющимся, что он оказался достаточно вежлив, чтобы нанести визит, — только забыл дома карточки.

Идти ли? Сначала он позавтракает, а подумает потом.

Он сполна воздал должное завтраку, заменившему и ленч, прочёл газеты, выругал наборщиков своей за две опечатки в колонке, затем позвонил ей домой. Чувствуя себя столь же

обыкновенно и неромантично, как обычно чувствует себя мужчина, переваривающий еду и новости, он решил: отказаться от приглашения, вообще пытаться её избегать не только бесполезно — рано или поздно он всё равно поддастся её притяжению, — но и означало бы ещё раз признаться в трусости. Что бы ни уготовила ему судьба, он пойдёт до конца.

Он передал дворецкому, что принимает приглашение, вышел, бодро прошёлся, вернулся и написал колонку на следующий день, затем отправился в клуб и беседовал с приятными ему людьми, пока не настало время переодеваться к обеду. Пока довольно размышлений.

И всё же ровно в половине девятого он поднялся на её крыльцо с кровью, стучавшей в ушах, и сердцем, которое вело себя как у школьника при первом приступе щенячьей влюблённости. Но успел взять себя в руки, прежде чем лакей неторопливо отозвался на звонок. Если в чём он был прежде всего твёрд, так это в намерении не терять головы. Дай он ей понять, что она довела его до слабоумия, раньше, чем наступит его час, — если он вообще наступит! — и всем надеждам конец. Пропал. В холл он вошёл мрачнее, чем когда-либо.

— Обед будет подан в библиотеке, сэр, — сказал лакей. — Мадам сейчас спустится.

Вдвоём у камина! Всё хуже и хуже. Его ободряла мысль о дворецком и лакее. Целый час под их надменными взглядами означал беседу на самые безличные темы. Но вряд ли они будут торчать в библиотеке.

Впрочем, маленький стол перед пылающими поленьями выглядел очень уютно, а величественная комната была залита мягким светом. К столу придвинули два готических стула. По крайней мере, они казались достаточно неудобными, чтобы препятствовать нежным чувствам. Не то чтобы он испытывал нежность. Ему приходилось сдерживать нечто гораздо более сильное, но, грея спину у огня, он льстил себя надеждой, что выглядит мрачным, как сам Сатана. Хорошо бы у неё был насморк.

Но насморка у неё не было. Она вошла в белом домашнем платье из шифона и кружев, похожая на лунный луч, и казалось, никакое земное недомогание никогда не задевало её даже вскользь. Вместо жемчуга на ней было длинное тонкое бриллиантовое ожерелье, словно покрывавшее платье инеем. Она улыбалась, была приветлива и бесконечно далека. Это подействовало так же холодно и отрезвляюще, как утренний ледяной душ.

Он крепко пожал ей руку.

— Жаль, что вы прихворнули. Надеюсь, в постель ложиться не пришлось?

— О нет. Думаю, мне просто нужен был предлог посмотреть Атлантик-Сити. Совсем лёгкий бронхит, сразу прошёл.

— Понравился Атлантик-Сити?

— Нет. Всего лишь бесконечный ряд напоказ роскошных отелей вдоль деревянного настила! Ни изящества, ни достоинства Остенде — бедного прежнего Остенде. Набережная была одним из самых блистательных зрелищ в Европе. Но вы, несомненно, её видели, — вежливо добавила она.

— Да, однажды провёл там неделю, но Брюгге заинтересовал меня больше. Я тогда был очень молод.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.